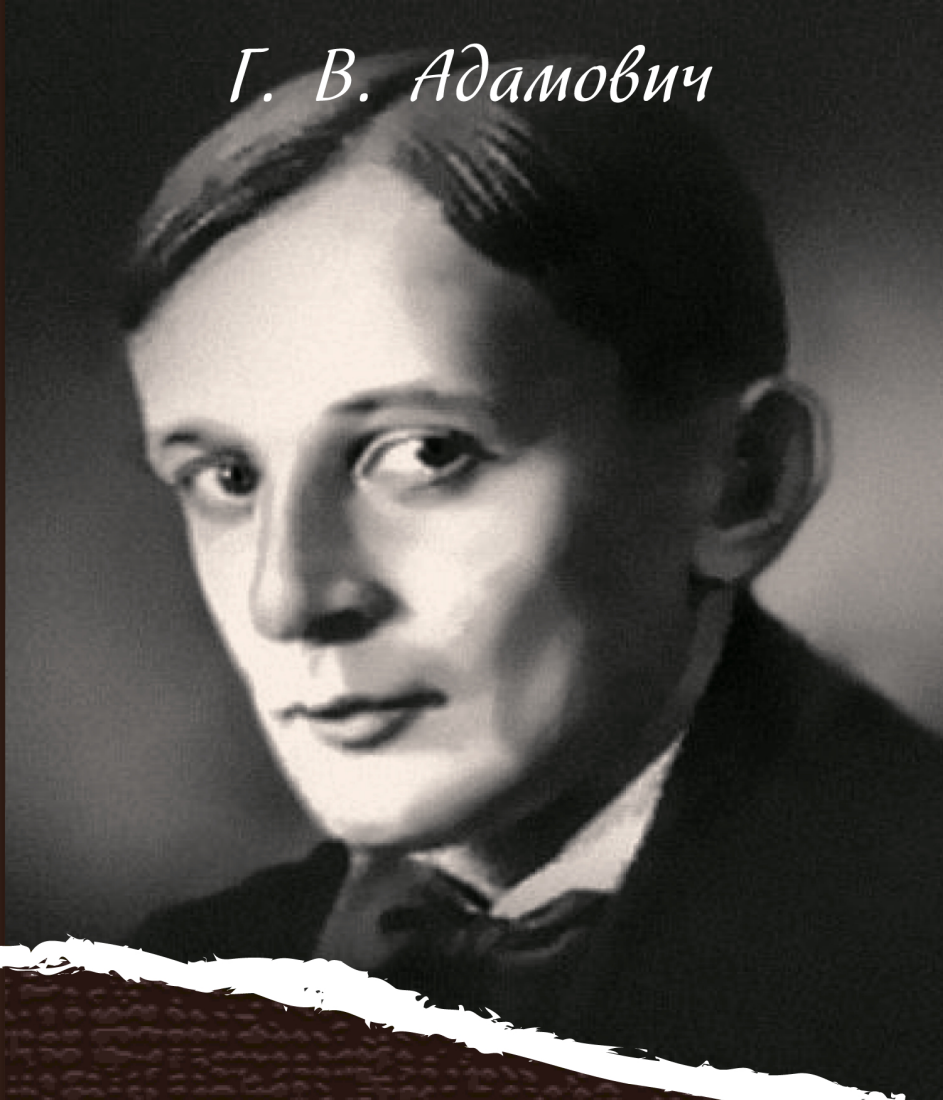
Г. В. Адамович



Комментарии

DirectMEDIA

Г. В. Адамович

Комментарии

Под редакцией Л. М. Суриса

DirectMEDIA
Москва
Берлин
2016

УДК 82.09
ББК 83.3(2)
А28

Адамович, Г. В.

А28 Комментарии / Г. В. Адамович ; под ред. Л. М. Суриса. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 146 с.

ISBN 978-5-4475-8982-0

В книгу «Комментарии» вошли критические заметки и статьи русского поэта-акмеиста, «первого критика эмиграции» Георгия Викторовича Адамовича (1894-1972 гг.), написанные в конце 30-х – начале 60-х годов XX в. Это своего рода литературное завещание Адамовича. В разрозненных набросках-эссе отражены наиболее важные, главные мысли автора. Порой противоречивые, порой повторяющиеся, но всегда искренние, идущие от самого сердца. Печатавшиеся в разных периодических изданиях, статьи объединены, тем не менее, по собственному высказыванию Адамовича, определенным «родством тем». В «Комментарии» вошли заметки о возрождении в эмиграции великой русской поэзии среди молодых парижских поэтов и полемические статьи с Мережковским о христианстве.

УДК 82.09
ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-4475-8982-0

© Сурис Л. М., редактор, текст, 2016
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2016

I

После всех бесед, споров, острот, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийцев, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества может еще существовать человек, любить, думать, жить, – все-таки и после всего этого не поздно и нелишне повторить, что главный для нас вопрос, общерусский вопрос, над личными темами, о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия – страна промежуточная. И, конечно, этот вопрос, будучи главным вообще и везде, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем во всех областях, – есть подготовка материалов для решения, составления «дела», досье, где время наведет порядок.

А все же, так или иначе, Россия должна бы остаться Россией, с единственными своими чертами, с тем, чему она нас научила и от чего не отречемся мы никогда. С тем, что должны бы мы передать нашим детям, внукам, правнукам.

Как долго, годами, десятилетиями, обольщались мы насчет Европы! «Дорогие там лежат могилы». Действительно, дорогие, этого забыть нельзя. Хорошо и верно, Иван Федорович, говорили вы об этом своему младшему брату, послушнику. В Европу, на Запад, нас несло почти что на крыльях любви. И вот, донесло. И после всех наших скитаний, без обольщения и слезливости, со свободной памятью, спокойно, уверенно, говоришь себе: сладок дым отечества. Все серо, скудно, и, Боже мой, до чего захолустно. Но уверенно, ответственно,

учитывая последствия и выводы, хочется повторить: сладок дым отечества, России.

Не потому, что это – отечество, а потому, что это – Россия.

II

Как бы об этом сказать? Бывало в рассказах, в одном из толстых журналов. Вечер. Станция, где-нибудь в средней полосе России, поезд только что прошел. Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй, еще и березки, непременно «чахлые», за палисадником, непременно пыльным. Ждать больше нечего.

Это, разумеется, должно быть в восьмидесятые или в девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что незачем и вглядываться, а кому не знакомо, тот действительно «не поймет и не заметит». Здесь почти все уже пелены прорваны, жизнь наполовину призрачна. Это русская глушь, истаивающая, переходящая в елисейские тени. Все белое и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, безнадежная музыка Чайковского, «идеалы»…).

Но долго длиться это не могло. Что-то должно было произойти – и произошло.

III

А. говорил мне: – Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали… если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий, трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоились. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, чтобы

некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?…» и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.

В дополнение: любопытно, что теперь поэты все больше клонятся к тому, чтобы уподобиться ангелам за счет естества человеческого. Им душен воздух земли, и поднять весь человеческий груз им, очевидно, не по силам. Они и сбрасывают его, после чего беспрепятственно добираются до мнимых небесных сфер. Но по старинному, глубокомысленному преданию человек больше ангела. «Гете был пошляк!» – воскликнул в запальчивости и раздражении, на многолюдном парижском собрании, один из старых ангелических русских писателей, верно улавливая отталкивание, но с ужасающим кощунством в порядке истинной иерархии ценностей.

IV

Конец литературы.

Книги, конечно, не перестанут никогда выходить, их всегда будут читать, разбирать, хвалить, критиковать. Но речь вовсе не о книжном рынке, хотя бы и самом изысканном, самом «культурном», а о том, что может смутить сознание писателя.

По самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю возжаждать «вещей последних», как литература (своя, личная литература) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться, и превратится в ничто. Может убить её ирония. Но вернее всего, убьет ее ощущение никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это неважно и то не важно, это – пустяки, и то – всего лишь мишура. Листик за листиком,

безостановочно, безжалостно, в нетерпеливом предчувствии самого верного, самого нужного… которого нет. Есть только листья, как в кочане капусты. Едва пожелаешь простоты, как простота примется разъедать душу серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко мефистофелевское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты, но и как достичь ее, не уничтожившись в то же мгновение? Все не просто, простоты быть не может. Простота же есть ноль, небытие. «Я – конечно, я воображаемый, – еще могу написать то, что все вы пишете, но уже я не хочу этого. И пусть не намекают мне с сочувственной усмешечкой на бессилие: умышленно, сознательно предпочитаю молчание».

Возможно и другое объяснение, пожалуй, более наглядное: литература принуждена выбирать случайную тему, случайные образы, то есть одного человека из миллионов, не схему, а личность. Если же случайного, то есть игры, я избегаю, то литература гибнет. Представьте себе круг с радиусами. Литература – на концах радиусов, где поле необозримо, где манят и мерцают тысячи тонов, ритмов, случаев, сюжетов, настроений. Удача выбора, оправданность посреди всей этой сложности и есть свойство таланта, и чем безграничнее выбора материал, то есть чем дальше скольжение по радиусам, тем больше радости в творчестве, а в игре больше свободы. Но иногда возникает желание: спуститься к центру («Не хочу пустяков, хочу единственно нужного»). И поле неуклонно суживается, радиусы стягиваются, выбор уменьшается, все удаленное от центра кажется поверхностным, все одно за другим отбрасывается. Человек ищет настоящих слов, ненавидя обольщения, отказываясь от них неумолимо-логическими в своей последовательности отказами. И вот, наконец, он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр

есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть. Настоящих слов в языке нет, а передумывать и перестраиваться, – бить отбой, – поздно, да и невозможно.

В духовной биографии Пушкина кое-что именно так становится понятно. Пушкин ссыхался, затихал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной были тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его иссякал, вопреки предположению Белинского, – конечно, нет! Но, по-видимому, не хотелось ему того, чем этот талант прельщался раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, останься Пушкин жив, как знать? – но пути его не видно, пути его нет. В последних, чудесно зрелых стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул со ступеньки на ступеньку, докатился бы и до конца. Это – к великой чести Пушкина, как и всех, кому хоть вдалеке мерещится «непоправимо-белая страница», после чего еще можно жить, но уже нельзя писать. (Рембо – одна из снеговых вершин французской литературы, внезапно променявший поэзию на коммерцию, а вместе с ним, наверное, и другие, оставшиеся нам навсегда неведомыми, устоявшие перед соблазном литературной славы и удачи).

V

За что вы любите Толстого? Вопрос задан был мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, в плоскости «нравится», мне все-таки не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да, но по давним декадентским воспоминаниям, от которых мне трудно отделаться, оно мне

чуждо. (При всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь хоть что-нибудь сказать не совсем общее. Убрать себя со своей дороги нельзя. Здесь «я» не цель, а средство, не объект, а «призма». Приходится это объяснять во избежание «досадных недоразумений», устраивать которые всегда найдутся добровольцы-любители). Многое другое перебирал я, но, признавая «да, и это», все же чувствовал, что главное обхожу.

Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие: просто я по-новому понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза номер «России и Славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском переводе «Слова о полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице, русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов… И ни разу, нигде – имени Толстого. Как это хорошо! Как хорошо, что его имя невозможно…нет, не в этом ряду, а в этом контексте! Как хорошо, что нельзя устроить ко «дню русской культуры» собрание в зале Трокадеро, посвященное Толстому, а если устроить, то получится такая ложь или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой – это все-таки Россия, только не такая, какой представляет ее редактор себе «России и Славянства». Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, что у Петра Струве, и даже Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуют в сусально-патриотическом маскараде, и даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Тол-

стом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном торжестве с демонстрированием наших национальных слав лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.

Повторяю, это мелочь. Ну что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в великом и в малом.

Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет, – хотя и совсем неясно еще, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним – и, значит, без бутафории, – чем любое благоустройство, будто бы его «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове.

VI

В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.

Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутомимой настойчивостью, доходя до ясновидения и усматривая ложь там, где ее никто никогда не замечал. В сущности, это его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и в самом деле знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить будто по инерции: «Ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это была скорей маниакальная подозрительность, чем зоркость.

В лицемерии он готов был заподозрить и Бога, каким его представила церковь. Он отверг обрядность, ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели, Бог есть Бог,

требуются Ему какие-то ухищрения, штучки, фокусы, неужели нельзя обращаться к Нему просто, как бы «с глазу на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и всемогущему Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, слабому человеку, Толстому, это противно, и лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем вообще Богу вера в Него? Богу должны быть нужны только дела. Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, при всей своей прямолинейности, чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, вопреки обличениям, большей частью малосерьезным. Есть вообще в облике Толстого, – как в позднем протестантстве, – какое-то глубоко человечное, очищающее и честное величие. Но требуя от Бога прямоты, он отдалил от Него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неуловим, и доступа к Нему нет.

Так путь к правде оказался путем к небытию… Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности должна быть допущена? Может быть, Богу нужны обряды? Может быть, Богу нужны догматы? Толстой с этим никогда не согласился бы, но как знать? – не остается ли он в ужасном и безысходном одиночестве, без опоры, без поддержки именно там, в тех высших, небесных духовных сферах, где он уверен был опору и поддержку найти?

VII

Есть древняя легенда, которую, вероятно, все знают. Но, зная, будто сложили на полочку, где лежат и прочие «ценности»: для обозрения в часы досуга.

Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию помимо его воли, из его полноты,

рискнул пожить за свой страх, на авось, на будь что будет. И вот выясняется, что ровно ничего не «будет». Смерть непобедима, несчастия и страдания неустранимы, их будет все больше и больше на «пути прогресса», потому что пути нет, прогресса нет, и всякое «вперед» есть только дальнейший прыжок в пустоту, без малейшей надежды на что-либо опереться, чего-либо достичь.

Конечно, это удивительное сказание, с удивительными выводами, которые сами собой из него делаются, не для всех на «полочке ценностей». Оно многих помучило, но его следовало бы предложить на ежедневное размышление всем людям, в качестве «пробного камня» внутреннего опыта, как духовное упражнение. Опровергается оно только изнутри, не умом, а каким-то согласием со всей жизнью, «солидарностью» с ней до тех ее слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии. Однако сомнение остается. А что, если все это обман, иллюзия – эти слияния с природой, эти летние полдни, когда все видимое, окружающее так спокойно и счастливо, и почти одушевленно приглашает человека к покою и счастью, – что, если все это обман?

Закаты не обманывают, – куда они зовут? Поэзия не обманывает, – о чем она? Откуда она и куда?

Отчего в шестнадцать лет, на пороге жизни, человеку всегда так безотчетно-тревожно, отчего так понятны ему закаты, так близка ему поэзия, как будто именно у «порога», «оттуда», его в последний раз призывают оглянуться, возвратиться, одуматься? А потом человек становится инженером, поступает в банк, и уж до самой смерти ни на что не оглядывается… И вот в душу закрадывается соблазн, поистине последний: не надо ли «погасить мир», то есть на это работать, потому что всякое подлинное «вперед» идет лишь по направленно назад, а если упорствовать и заниматься «строительством» в любом стиле, в любом вкусе, то никогда ничего,

кроме умножения бедствий не получится? «Могий вместити …». Принципиальные, прирожденные оптимисты ничего не подозревают, «вперед без страха и сомнения», и точка! Опыт их не имеет никакого значения ни в жизни, ни в искусстве, потому что они простонапросто не знают, в чем дело, «не подозревают». Если им растолковать, они ответят: «Полноте, батенька, чепуха-с!». (Оттого этот человечески склад, «батенька» и прочее, во всех его современнейших и разновидностях, невыносим до дрожи, до тошноты, как кощунство. И рядом так хороша «задумчивость»). Но тот, кто услышал, уловил «голос оттуда» и справился с ним, действительно достоин быть учителем человечества. Если даже все остается гадательным, лучше наугад решить «да», чем наугад сказать «нет», а здесь, в этом случае, не только лучше, а мужественнее, прекраснее, милосерднее, не знаю, как выразиться еще…

В сущности, в этом «да» все таинственное обаяние Гете. Другие или не все расслышали, или – как русская литература, кроме Пушкина, – не окончательно справились.

VIII

Тайна писательства, по-видимому, заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и при даровитости пишущего интонационно приходится там, где поддержки требует смысл. Не только в способности согласовать это распределение веса с естественным течением речи.

Но еще и в том – больше всего в том, – что слово падает на точно предчувствуемом (нельзя было бы сказать «точно отмеренном») расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко – оно безжизненно,

слишком далеко – оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть все же результат напряжения всего существа – ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.

Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. Линия стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают: слова падают то слишком далеко, то слишком близко. «Пишите прозу, господа», – сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа», – говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле.

IX

Годами, годами думает человек о том, что хотел бы написать, а именно этого никогда и не напишет.

«Прощание с Вагнером». Не сомневаюсь, страница останется пустой, навсегда, «средь всякой пошлости и прозы», благополучно и беспрепятственно, из-под того же пера, укладывающихся на бумагу.

Вагнер. Имя незаменимое, хоть и вызывающее досаду. Свет сильнейший, но не вполне чистый. Волшебство, огромным усилием воли достигнутое, но без первичной благодати. Вагнер… да, да, театральщина, романтизм, звуки, оказавшиеся все же чуть-чуть беднее, чем нам казалось… да, да, дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море.

Но, как будто сходя с лестницы, на последней ступени, с которой еще виден «весь горизонт в огне», перед тем, как перестать оглядываться, перед тем, как пойти вместе с другими в общий путь в общих тесных рядах, перед

всем этим – привет, поклон, благодарность! Вагнер – наша круговая порука, будто одним только нам и было понятно, о чем вспоминает Зигфрид перед смертью. Вагнер – таран, пробивший главную брешь, Вагнер – залог, «может быть, залог». Пусть и старый фальшивомонетчик, пусть, возможно, – как знать, может быть, Ницше и прав, да и в чем, кроме мелочей, Ницше когда-либо ошибался? – но за фальшивые ассигнации нам-то выдано было чистое золото. Прощание с тем, что мы сами уже еле-еле различаем, что «в ночь идет», что «плачет уходя». Прощание с тем, что кружило голову Андрею Белому, с тем, что знал бедный, мало кому уже ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на истинных весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами. Прощание, смешанное с надеждой, с предчувствием новой встречи, когда-нибудь, где-нибудь.

X

После доклада Бердяева.

Утверждение, что именно «красота спасет мир», что без красоты мир спасен быть не может.

А не сжимается ли сердце в сомнении и страхе оттого, что красотой, может быть, придется пожертвовать? Красота аристократична – я едва не написал реакционна, – и по связям своим, в родственном своем окружении, она социально порочна, – как остро, как безошибочно верно чувствовал это Константин Леонтьев, человек эстетически-гениальный, но морально-безумный, как остро, как безошибочно чувствовал это Толстой, человек морально-гениальный и именно потому-то, именно в силу этого-то стремившийся к эстетическому нигилизму, принявший его как вериги! Красота исключает равенство, и пускай Леонтьев вкупе с Достоевским

сколько им угодно издеваются: не равенство, мол, а «вмество», – от игры слов сущность дела не изменяется. Красота, создаваемая одним человеком, требует молчания, подчинения, невольной, бессознательной жертвы со стороны ста тысяч других, лежащих под ней навозным удобрением. Красота возникает от пестроты мира, от игры света и теней, от скрещения бесчисленных лучей в одной точке, а если свет распределить равномерно, она иссякает… «Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, когда он отверг своё художественное творчество, а ему ведь было стыдно, что в то время как обворожительная Анна в бархатном черном платье пляшет на московском балу, какие-то люди, такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют на кухне грязные тарелки. И на это, на праведность этого стыда нечего возразить. Красота? Дело даже не в бархатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в том, что Анна не могла бы так изящно любить и мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. А если все равны, если все имеют право на то же самое, то бархата на всех не хватит, и придется нам остаться с грязными подолами во всех смыслах, дословном и переносном.

Как трагичен этот вопрос. В какую глубь уходит он корнями. К каким отказам и отречениям мало-помалу ведет. Но можно без кощунства произнести слово «Бог» или хотя бы только слово «культура», если усомниться хоть миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы ценой ни пришлось за это платить.

XI

Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!

Доказательств нет. Но ведь не всё же надо доказывать. Достаточно вглядеться повнимательнее: позднее

утро сейчас, солнце взошло уже высоко, и всё слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. Тайна осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах ее, но в воздухе её нет, и нельзя уже навязать ее миру. Будет трезвый, грустный день[1].

Мережковский кричит: «Кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни?». Увы, увы, это лишь полемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше бы обойтись. Ответ несомненен. Кем надо быть? – подлецом. Возражающий посрамлен и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно всё-таки её отрицать. И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?» Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, сочиняет как ни в чем не бывало новые догматы: старых ему, очевидно, мало.

От уверенности, что обладает истиной, он-то, может быть, и предает ее: в тёмных углах, по забытым душевным убежищам ещё прячется она, отступая, бросая всё за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, – тогда всё рвалось вперёд, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема, образ.

---

[1] Это писано лет тридцать пять тому назад, и теперь, после долгожданного оживления Церкви, после Папы Иоанна и Второго Ватиканского собора, это может показаться ошибочным. Дай Бог, чтоб ошибочным это и было! Но не оттого ли Церковь и очнулась от забытья, не оттого ли содрогнулась, что опасность стала слишком уж очевидной и близкой?

«Мы свой, мы новый мир построим». Лично – отказываюсь (не о себе: «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пустоте, и тем, другим, «новым», ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь. Удивительно, что Мережковский не захотел понять потустороннего риска христианства и, пристыдив подлеца-собеседника насчет «оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и метафизику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «Не люди – Бог против Него, не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, чтобы этот вызов всему всемирному здоровью или благополучью был в согласии со всемирной жизненной волей…» И так далее. И тут же евангельские цитаты: блаженны нищие, – отчего именно нищие? блаженны плачущие, – отчего только плачущие? отчего вообще блаженны неудачники? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий всё вверх дном! И богатый юноша, который не случайно же «отошел с печалью». И наконец, последнее: «Кто не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником!» Одиночество Христа тут и обнаруживается вполне. Не люди оставляют Его: природа, мир отказываются подчиниться Ему. Последний, предсмертный стон на кресте: «Боже мой, Боже мой…» еще не утратил значения, и если уж быть Ему верным, то «нельзя в это время – то есть до конца дней – спать», как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на всё: даже и умереть с Умершим.

Не опровергнуто христианство, конечно. Но испускает дух, выдыхается, изошло за два тысячелетия всеми

своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим *вслед* ему – смотрим, и не можем оторвать глаз. «О, свет вечерний!» Единственный свет, никогда такого не было, надо бы на колени стать, провожая его.

Но слепота ничему не поможет. Даже и подумать нелепо, чтобы сейчас можно было опять вдохнуть его в кровь человечества и, например, поднять какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди лишь долюбливают это, доверовают, додумывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошенько потрепала перед этим. В выбывших из строя, словом. Тогда они вспомнят «блаженны нищие» – и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого, по Христу, не было бы выхода, нет «дна» вообще. В этом смысле – нет смерти.

Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое Церковью изречение, – в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя Мое…»:

– Где и один человек, Я с ним.

Будто торопливая, запоздалая поправка, в ясновидящем и милосердном понимании того, что бывает иногда человеку нужно. Церковь была эту поправку отвергнуть: она подрывает самое её основание. Но всё очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.

XII

Веяния подлинности. – Наука, признавая существование Христа, почти ничего о нем не знает. «Он неуловим», – заметил недавно осторожный Рейнак. То же утверждает Луази.

Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания. Случается, перечитывая Евангелие, останавливаешься и, пораженный, говоришь себе: этого не могло не быть! Есть у всех четырех евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, и вдруг каждое слово становится по-новому ясно.

Рассказ о крестной смерти: «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Элои, Элои, лима савахвани!", что значит: "Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил!". Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: "Вот зовет Илию"».

То же повторено у Матфея.

Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая! Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть, тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «Вот зовет Илию». Можно ли у литературно-простодушного Марка предположить такой профессионально писательский опыт, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь так сочинять впору умелому теперешнему бытовику, Тригорину какому-нибудь… Значит – было. Марк не заботится о картинности. Марк записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, как собирал и другое. Значит, было, всё было: по одному слову убеждаешься в целом.

XIII

Он говорил с людьми решительно обо всем. Но Он ни разу не сказал им, что надо быть честными. Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Представьте себе

в них: «Блаженны честные». Невозможно! Будто какой-то барабан вторгается в райские скрипки: все меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно!

Но Рим и здесь одержал над Ним победу. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грознооkому орлу-полковнику, который, не моргнув, подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:

– Иди, застрелись. Это твой последний долг.

И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено. Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя наш полковник, вероятно, ходит по воскресеньям к обедне и лобызает золотой крест, выносимый его приятелем-батюшкой, всё-таки он душой всецело с Цельсием, со всеми теми, кого ужаснуло когда-то христианство как безумие и ужас. Если бы ему это сказали, он удивился бы, ибо привык чтить всё установленное веками: как же ему враждовать с церковью? Глухой, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, «под самым носом» церкви, при ее попустительстве или в редчайших случаях под её беспомощные, грустные вздохи. Надо было вновь укрепить и скрепить расшатывавшийся мир, нельзя было признать, что над идеалом общественно нужным вознесен идеал общественно неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени повторяет это как непререкаемую истину. Даже если он не в силах этим принципам полностью следовать, то не позволяет себе в них усомниться и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимо чтимого Учителя на «второе пропятие».

По Христу, все это несущественно. Он не против, но Ему некогда о таких вещах думать. «Воздадите кесарево…» Да, конечно. Но это наверное не выше всего. Разбойник, которому обещан был рай, честным не был.

XIV

Из писем А.

Тема Пушкина не дает мне покоя. Вернее, тема «Пушкин». Тема искусства. Бывает, мне хочется погрозить ему кулаком – «ужо тебе!», как Евгений Петру в «Медном всаднике». А потом принимаюсь читать – и мало-помалу всё забываю, сдаюсь.

Чудный и грешный поэт, «несчастный, как сама Россия», по чьему-то верному – не помню, кто сказал, – слову. Непонятно, когда это успели накурить ему столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже и не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. «Поклонник Пушкина, но человек неглупый…» – эту фразу я написал как-то само собой, не сразу заметив её парадоксальность.

Иногда представляешь его себе, – схематически, так сказать: страшный оскал негритянских, сияющих зубов, не то в усмешке, не то в предсмертном изнеможении, и безвоздушное, чёрное пространство вокруг, без всяких Богов и утешений. О, как тяжело ему жилось!

XV

Кто-то вполголоса запел в соседней комнате:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется была…

Вот услышал я эти строчки и, простите, друг мой, если сентиментально, едва не заплакал, застигнутый врасплох, не успев вовремя душевно защититься. Не могу без слёз этого и читать и слушать. Есть вообще

в двух последних главах «Онегина» такая для меня пронзительная, улетающая и грустная прелесть, что не могу её выдержать. «Пушкин, Пушкин, золотой сон мой». Но послушайте, вот, – это слишком хорошо, и поэтому жизнь уже не вмещается в это. Оттого и грусть. Не уверен, что правильно здесь сказать «поэтому». Но жизнь рвется мимо мутным, тепло-рвотным, грязно-животворящим потоком, и я всё-таки хочу быть с ней, несмотря ни на что, превозмогая иногда отвращение, и зная, что обратно её в былую стройную прелесть вогнать нельзя: уже другие элементы вошли в игру, уже явственно звучит другая музыка, и я хочу быть с ней! Поймите, мне иногда мечтается новый «Онегин». Для разума моего он еще невозможен, не могу себе представить его, но сердцем жду: опять всё пронизать такой же гармонией, найти всему имя и место, упорядочить данные мира, одно к одному, – и не так, как теперь, не реакционно-музейно, жмурясь от одинокого наслаждения, вдыхая аромат полуувядшего цветка, а всем существом своим чувствуя влагу, ещё идущую от земли.

Отсюда переход. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда об этом, почти только об этом и думаю. Вернее, сразу думаешь обо всем, вместе с поэзией. Ну вот, скажу сразу, банальнее банального: «Вперед без страха и сомнения». Или со страхом и сомнением, но всё-таки вперед. И не то что «да здравствует Москва», нет, о нет, – но да будет то, что будет, то, что должно быть. Не от пассивно-мечтательного безволия моего говорю это, а от морального – насколько оно мне доступно – ощущения времени и бытия. В прошлом было благолепие… Были ли вы когда-нибудь в Версале, зимой, в сумерках, бродили ли по пустым аллеям его? Это – как «Онегин», потому что здесь жизнь тоже достигла какого-то острия своего, какой-то завершенной формы, и исчезла. Но я от благолепия отказываюсь,

отрываю от сердца любовь к нему, потому что, сколько ни вглядываюсь, не вижу других оснований к нему, кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме: на выбрасывании всяких шестерок и двоек из колоды, на беспощадном, ювелирном выборе и просеивании материала. Защитники «прекрасного», эстеты истории хорошо это знают, и если революцию ненавидят они с оттенком презрения, то не столько за казни и грабёж награбленного, сколько за прорыв плотины. Но, друг мой: да будет то, что будет.

XVI

Когда-то Александр III заметил, что кухаркиных детей не следовало бы пускать в университеты.

По всей вероятности, с его стороны это было лишь брезгливое брюзжание: полвека спустя ещё видишь всю сцену, хорошо знакомую по общей российской атмосфере, еще слышишь скрип высочайшего пера, накладывающего «резолюцию». Но инстинкт самосохранения сказался здесь в полной мере, заменив проницательность ума.

Безошибочный, неумолимый расчет: увеличение знания, распространение его в ширину должно было неминуемо привести к «потрясению основ». Не только блекнул ореол царского помазанничества, священного уже только для некоторых чистосердечных чудаков или для толпы бессовестных публицистов (вспомните «Новое время» в 1917 году), но и вставал вдалеке, за всяческими свободами, призрак социального переворота. Всем всё разделить поровну: едва только человек поймёт, что он имеет на такой дележ право, – а не понять этого он рано или поздно не может, – как будет его требовать и к нему стремиться. Нельзя поровну разделить, так хоть владеть сообща: иначе всем по справедливости разместиться на земле невозможно. Усилия

власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены к тому, чтобы те, нежелательные, кухаркины дети, подольше ничего не понимали, – и потому-то русская монархия и была давно обречена, что у неё не было силы и смелости противостоять общей тяги века к образованию. Резолюция Александра III вызвала осуждение везде, даже у самых благонамеренных людей, которые наивно представляли себе светлое будущее в таком виде, что повсюду откроются школы, мужички будут по вечерам читать газеты при свете электрических лампочек вместо лучин и благодарить доброго царя. Монархия сидела на двух стульях – и провалилась в небытие. Тысячу доводов найдут вам в ответ, чтобы сбить с толку: не обольщайтесь, это именно так, в грубой простоте своей. Просвещение работает на левизну, неотвратимо.

Вообще свет, идущий от человека, – левый. Божий… ну, это не по моей части, на это есть специалисты, считающие себя главноуполномоченными Господа Бога на земле. Ничего бы я против них не имел, если бы только были они менее изворотливы и самоуверенны.

XVII

О советской России.

Множество недоумений. Хотелось бы задать множество вопросов, – но кому? Первое насчет того, что нам отсюда кажется притворством и бесстыдством: насчет полного исчезновения «фрондирования», насчет заведомого доверия к новым авторитетам и согласия всех со всеми. Затем об огрублении и опрощении, особенно ясном в литературе. Что было неизбежно и по-своему, значит, оправдано, что должно быть опровергнуто? Многое, многое и другое.

Наконец, последнее, самое важное. Сталин об этом, вероятно, не думает, не думал и Ленин… хотя, сидя

в Кремле, когда-нибудь ночью, после докладов и совещаний, чувствуя всё-таки ответственность за всё, что было сделано, за то, что будет сделано, неужели он мог ни разу не побеспокоиться, ну ни на одну минуту, ни на одну секунду об этом, именно об этом? Неужели ни разу не спросил он себя: а что же дальше? Отлично водворится коммунизм, бесклассовое общество, придет полное решение социальных проблем. А дальше? В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет с человеком, что будет с миром? А если Бог всё-таки есть? А если страдание неустранимо, и не стоило, говоря попросту, огород городить? И как говорил Толстой, «после глупой жизни придет глупая смерть», тоже в планетарном масштабе? Была пятилетка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смутнейших чертах существует ли истинный план, возможен ли он, или игра ведется вслепую?

Пишу и ловлю себя на мысли: в сущности, какое мне дело? «Смерть и время царят на земле». Умру, ничего не буду знать, значит – пей и веселись, пока можно. Но нет, мне не безразлично, что будет после меня, не стану же я сам себя обманывать. Вероятно, правда: жизнь одна везде, всегда.

XVIII

Иногда думаешь: неужели это совершенно невозможно? Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никак, никаким способом все вернуть в России к тому состоянию, о котором многие в эмиграции так горько и бескорыстно мечтают?

Чтобы опять зазвенел валдайский колокольчик над тройкой в темном вековом лесу и ямщик, ну конечно в «красном кушаке», насвистывал песню. Чтобы мужики в холщовых рубахах кланялись в пояс редким проезжим. Чтоб томились купчихи на перинах в белокаменной Москве под смутный, протяжный гул колоколов.

Чтоб в сумерках, на глухой станционной платформе, шептались гимназистки, под руку, от поезда до поезда, с тургеневскими думами в сердце и тяжелыми косами, а вдалеке гасла узкая, желтая полоска зари. Чтоб свободно и спокойно текли реки, чтоб утопали в прохладных рощах синеглавые в звездах монастыри и гостеприимные усадьбы. Чтоб воскресла «святая Русь», одним словом, и настала прежняя тишь да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь почти все книги, консервативные или революционные, все равно, закрыть почти все школы, разрушить все «стройки» и «строи» и ждать, пока не умрет последний, кто видел иное. Надо было бы на много лет прервать всякую связь с зараженным миром, закрыть все границы: это бред, конечно, это невозможно, но я говорю предположительно… После этого, когда улетучится всякое воспоминание об усилиях и борьбе человека, да, тогда, пожалуй, можно было бы попробовать свято-российскую реставрацию. В глубокой тьме, как скверное дело.

Блок: «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Верно: «и такой»! Как почти всегда, Блок прав. Но, в сущности, он ещё любовался прошлым, а нам теперь труднее: то, новое, чуждое, нам незнакомое, – будто уже и не совсем Россия. Что же делать! Оставим всё-таки мертвых хоронить мертвецов.

XIX

В оправдание стихов.

Конечно, никакого влияния, ни на кого, ни на что. В журналах – балласт, и если редакторы ещё печатают их, то лишь из боязни прослыть некультурными: редакторы пошли нынче всепонимающие, всепрощающие, «Аполлон» победил «Русское богатство», редакторы захлебываются: «Помилуйте, мы приветствуем всё красивое»

и даже втайне озабочены, чтобы материал солидный, серьезный украсить этакими виньеточками. Полная беззащитность от упрёков, которые делать легко и эффектно. «В наше время, когда…» – так, пожалуй, люди литературно грамотные уже не пишут, но внутренне всё остается по-прежнему: мы, умницы, руководители общества, заняты делом, вы, лодыри, дайте же нам хоть поэзию, нас достойную, – и скрытое, инстинктивное злорадство от сознания, что требование невыполнимо, что «вы», то есть лодыри, с вашим непонятным, смутно-тревожным бредом в голове, будете всё-таки неизбежно уличены в дармоедстве.

Но ведь стихи всегда беззащитны. По совести: кому они нужны, в жизни, для «жизнетворчества», для работы и бодрости, – кому? Все идет мимо. Не будем же лгать, оставшись с глазу на глаз: это – лунное, тихое дело, не надо на него нападать. Это – два слова там, два слова здесь, – еле заметно, не всегда внятно, – которые два сердца, два слуха то здесь, то там уловят. Прогресса не было в поэзии, не будет и упадка. Два слова, две-три струны, будто задетые ветром. И ничего больше. Остальное – для отвода глаз, для прикрытия слишком беспомощно-нежной сущности, и ничего больше. Круговой порукой мы это знаем, и даже, пожалуй, чем дальше, тем лучше знаем. Сейчас я ошибся и нетто сказал: прогресс есть. Человек учится выбирать и ощущать, время точит душу, поэзия освобождается от трескотни, становится чище и тише. Другого ничего не может быть, не должно быть. Критические фельетоны об упадке необходимы, потому что иначе, без этого общего склада и стиля, нельзя жить: здесь нельзя жить. Но поэзия не здесь, а туда и оттуда. Кроме того: есть у человека дневные мысли и есть ночные… Узкий дымок. Два-три слова, которые мы всё-таки лучше слышим теперь, чем сто лет тому назад.

XX

Ходасевич считал лучшими стихами Пушкина – и вообще во всей русской поэзии – гимн чуме.

Спорить трудно. Стихотворение действительно гениальное. Будто факел, светящийся над нашей литературой.

…Бессмертья, может быть, залог!

Да что тут говорить, гениально. Не факел: солнце. Но… в этих стихах есть напряжение. В этих стихах есть пафос, который, может быть, холодней внутри, чем снаружи. Как трудно это объяснить, не наговорив глупостей! Ведь вспоминая такие стихи, даже такие, гениальные, невольно спрашиваешь себя: а нет ли тут декламации, хотя бы в сотой, тысячной доле? При таком подъеме может ли каждое слово быть одухотворенно? Яркости вдохновения в точности ли соответствует первоначальный огонь? Короче, проще: реальна ли сущность этих стихов и так ли богата человеческая душа, даже душа Пушкина, чтобы реальность эта была возможна?

Сомнения растекаются вширь. Но у того же Пушкина ни «Песнь председателя», ни «Пророк» не заменят мне стихов другого склада, грустных и ясных, как небо. Если бы нужно было назвать «лучшие» пушкинские стихи, я, пожалуй, прежде всего вспомнил бы то, что Татьяна говорит Онегину в последней главе романа: «Сегодня очередь моя…».

Это такое же волшебство, как и гимн чуме. Но ещё более таинственное.

XXI

По поводу «Пророка».

С оговорками и поправками, при живости фантазии, можно представить себе, что «Пророка» написал бы

Гоголь. Можно представить себе, что «Пророка» написал бы Достоевский, столь вдохновенно его декламировавший. Но никак нельзя себе представить, чтобы «Пророка» написал Лев Толстой, – хотя кто же был «духовной жаждою томим» сильнее его?

Это не простое расхождение в характерах. Тут скрыт важнейший спор, и в споре этом правда полностью на стороне Толстого.

XXII

«Du choc des opinions jaillit la verite».

«Из столкновений мнений возникает истина».

Казалось бы, так это и быть должно. Но на деле почти никогда в спорах не «возникает» ничего, и даже то немногое, что до спора было ясно, двоится и отступает вдаль.

Как люди спорят? Истина могла бы обнаружиться или хотя бы ненадолго блеснуть, если бы в споре мы именно о ней и думали, – о ней, то есть о предмете спора. Но, сам того не замечая, не отдавая себе отчета, каждый из нас, втянувшись в спор, думает исключительно о том, как бы лучше возразить противнику. Как бы противника посрамить. Как бы выйти из спора победителем. Задор затуманивает сознание. Быв на своем веку свидетелем и, к сожалению, участником многих споров, не помню, чтобы кто-нибудь в пылу прений задумался, уступил, признал своё заблуждение, сказал: да, вы правы… А ведь если бы спорящие действительно были озабочены отысканием истины, это должно было бы случиться тысячи раз! Но спорящие озабочены личным своим торжеством и воюют «до победного конца», чего бы конец этот ни стоил.

Наши настоящие мысли о чем-либо мало-мальски значительном и отвлеченном большей частью похожи на облака: они волнисты, зыбки, переменчивы.

А в споре мы придаем им видимость стали. Колебания, противоречия одно за другим отбрасываются, забываются, как исчезает и понимание того, что, может быть, в противоречиях истина и таилась.

Никогда не спорить. Во всяком случае, никогда не относиться к спорам иначе как к развлечению, как к игре. Блок хорошо сказал: «Тихо жить и тихо думать».

XXIII

Дневники.

Дневник Поплавского, например.

«Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы…»

Постоянное моё недоумение. Как можно так писать? Если это действительно обращение к Богу, зачем бумага, чернила, слова, – будто прошение министру? Если это молитва, как не вывалилось перо из рук? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?

Не осуждаю, а недоумеваю – потому что у Поплавского бесстыдства не было. Да ведь и не один в таком духе писал. На днях я прочел то же самое у Мориака. Не понимаю, и только! Не могу представить себе состояние, которое оправдывало бы переписку с Богом. Отчего тогда не пойти бы и до конца, не наклеить марки, не опустить в почтовый ящик?

XXIV

Одно из последних, поздних и потому, вероятно, самых основательных впечатлений от Запада, после многолетнего сидения «на берегах сенских», есть его… Ставлю многоточие, не находя верного слова. Может быть, оно найдется потом.

Неуютность? Да, но это слово лишь при безошибочном ощущении оттенка приобретает нужный смысл, – а иначе получается чепуха, да еще с позорным, мелко

обывательским привкусом. Париж, вообще-то говоря, «уютнее» большинства русских городов и уж наверное уютнее Петербурга. В Париже есть чувство меры, чувство размеров, которое там было потеряно, в соответствии, правда, с самой природой и будто под влиянием слишком широкой для городского пейзажа, слишком мощной и многоводной, какой-то океанской Невой. Петербург при сравнении с Парижем остается только черновиком или наброском города, но в черновике этом все же есть что-то более размашистое, грандиозное, с налетом холодноватого, бесполезного и чуть-чуть унылого величия, которого в Париже нет и в помине… Но обо всем этом – мимоходом. К слову пришлось, и само по себе интересно, но не относится к теме.

Неуютно и жутко в Европе потому, что после России всякий человеческий голос кажется в ней «гласом вопиющего в пустыне». Не в смысле какого-либо морального очерствления, не по чванливому сопоставлению с нашим мнимым духовным превосходством – совсем нет! Просто по густоте и сложности всяких культурных и бытовых сплетений, по невозможности что-то выделить в этой неразберихе, или ещё проще: потому, что здесь разрушена (а может быть, по-новому создается) связь количества и качества. В Европе все меньше остается возможности для истории в «иловайском» значении слова, – потому что в ней исчезают объединяющие факты. И невозможна в ней жизнь, к которой привыкли мы в прежней России, с организованностью основных впечатлений, общественных и всяких других. «Все течет».

Факты и явления перестают здесь быть остовом расползающихся жизненных форм: ни один из них ничего не определяет и даже не отмечает. Жизнь несется мимо сознания, не успевающего не только

понять её, но даже рассмотреть… В России мы жили как бы в комнате, в квартире, в доме, в помещении, куда нельзя было без звонка войти, где каждый пришелец обращал на себя внимание. В России мы могли жить «задумчиво», ещё не замыкаясь в самих себя, не затыкая ушей. Здесь люди очутились на выставке, на митинге: всё распахнуто, слышен только невнятный гул, в котором тонут отдельные голоса.

Вникая дальше: приходится, значит, сказать, что Россия была ещё провинцией по сравнению с Европой, и мы, как провинциалы, ошеломлены столичной сутолокой. Опрометчиво было бы что-либо тут осуждать, ибо Россия шла и тянулась к тому же, к той же полифонии бытия, и только не успела дойти. Да осуждение и морально недопустимо, ибо наш сравнительный уют – то есть однотемность, одностройность нашей культурной жизни – уходит корнями в вековые российские ограничения, в отталкивание, в оттискивание основной толщи народа от «ценностей», которые ему будто бы не по зубам (на самых верхах – откровенно цинично, пониже – из кругов «просвещенных» – лицемерно, во имя идеалов, которые будто только мы одни, социально привилегированные, и способны хранить в силу особой нашей тонкости, с тем, чтобы со временем – но только со временем! – передать их бедненьким, темненьким нашим братьям)… Если же раз навсегда отказаться от ограничения прав на то, что мы для себя считаем благом, – как от дела, которому можно искать, но нельзя найти оправдания, – общая путаница и вавилонское столпотворение становятся неизбежны: вопрос только во времени. Наш уют вовсе не был нам дан как благодать. У нас, над безмолвным русским океаном, культурный слой держался только потому, что к «храму» простой народ не подпускали, – очевидно, чтобы «не потеснить гуляющих господ». Возвышен-

ные помыслы о великом одухотворяющем значении «элиты» убаюкивали совесть.

В России еще нельзя было говорить о распаде личности. Здесь же это так очевидно, так непостижимо, – и что страшнее всего, так законно в смысле исторической неизбежности, – что от зрелища кружится голова… Основное, глубочайшее, конечно, – исчезновение или убыль христианства и роковая пустота «в сердцах восторженных когда-то». Но и помимо этого человек не выдерживает постоянного пребывания на выставке, на митинге. Утончаясь, обостряясь, усложняясь в каждую отдельную минуту, он раздроблен на тысячи частиц, он как бы взвивается брызгами, клубится пылью по ветру и не в силах восстановить своё единство.

Так вот что, может быть, значило «холод и мрак грядущих дней».

XXV

Пример.

Проповедь Толстого – очень важное явление в духовной жизни России, не только сама по себе, во внутренней и абсолютной своей ценности, но и как «фактор» в нашей истории. По существу, она и теперь так же важна, как прежде. От нее можно отмахнуться, «старик блажил», но разделаться с ней нелегко.

Однако эту несомненную, подлинную важность полностью уловить уже невозможно. Она уже не совсем «доходит», будто порвались какие-то провода. Ее только чувствуешь, воспринимаешь издалека, но она бездейственна.

Толстой проповедовал в России предвоенной, предкатастрофической, тихой и патриархально-провинциальной. Казалось, тишина водворилась навеки. Нечего стало делать, естественно было подумать о душе. Толстому страстно откликнулись современники: земские

врачи, интеллигенты, даже генералы, растерявшие в общей спячке былую воинственность и безмятежно размечтавшиеся по всяким управлениям и интендантствам. Россия слушала Толстого: он давал ей выход, порыв, волнение, тему существования.

Но сейчас выходов, волнений, тем – хоть отбавляй. Тысячи возражений, тысячи случаев, когда в игру вошли совсем новые элементы… Человек оглушен. Надо бы снова стать земским врачом, но мы уже не земские врачи, и нам невозможно собрать то, что рассыпалось, воскресить былой душевный строй и стиль. Толстой со своей нужной правдой уходит в прошлое, а жизнь летит мимо «без руля и без ветрил».

XXVI

Искусственная, насильственная и потому призрачная цельность: коммунизм и прочее

Ничто не разрешено, ничто не устранено, а сколько внутренних уступок и жертв! И какое оскудение! Литература есть одно из немногих человеческих дел, с которым несовместимы обольщения, обманы, иллюзии. Поэтому с *такой* цельностью ей нечего делать: она от нее бежит, если только не впала в детство.

В стороне, задумавшись, она спрашивает: уверены ли вы, что у вас в разнообразных ваших строительствах действительно есть цель? Конечно, общество, которое как будто чего-то хочет и куда-то идет, всегда будет казаться богаче и творчески сильнее того, которое ничего скопом не хочет и никуда не идет. Но может ли общество иметь одну волю? Должно ли оно «идти»? Не мираж ли – общее дело, общая цель? В чем эта цель? Не снизу ли возникает творчество, чтобы затем, в единичных случаях, дорасти до общего понимания и признания во всей своей личной неповторимой живой прихотливости вместо коллективного равнения по правофлан-

говому? И не окажется ли в конце концов, что больше движения было там, где как будто все стояло на месте, разлагаясь, «загнивая», но, по крайней мере, не играя в грубую, жестокую и финально-бессмысленную игру с лучшими человеческими надеждами?

XXVII

Это все, может быть, очень современно, органично, стихийно. Это увлекает «массы».

Но если говорить о творчестве… оставьте творчество, господа! Товарищи, оставьте литературу. Да, вы можете создать недурные, даже блестящие, «полнокровные» романы, отразить, описать, показать. В критических разборах вас будут хвалить, анализировать. Типы недоработаны, что же касается языка, то язык образный, «сочный» – и так далее.

Будем, однако, говорить серьезно: литература – не ваше дело. А если она у вас как будто много дает, то лишь потому, что вы от неё мало требуете. Устроить такой «расцвет», право, не трудно, но ни вы ей, ни она вам не нужны. Литература возникает в «темном погребе личности», в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви, и уж конечно без барабанного боя. Кто бы ни победил в житейской борьбе, *ваша* книга рядом с *другой*, настоящей книгой будет всегда глупа и груба, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет.

Вот стихи:

> Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
> Зачем мне рай, которым грезят все?
> А если грязь и низость – только мука
> По где-то там сияющей красе?

Рифмы обыкновенные. Образы тоже не Бог весть какие оригинальные. Но после этого, после того,

что человек нашел такие звуки, дослушался до такой музыки, все ваши типы и проблемы, все оптимистические полотна и идейно насыщенные романы, все, все – пустота, скука и ничтожество. Я едва не написал крепкое русское словечко, для печати непригодное… Впрочем, Пушкин его любил.

И еще: это мы говорим не в припадке безнадежного, декадентски-хмельного восторга, с готовностью тут же сдать позиции. Нет, с твердым сознанием торжества и победы.

XXVIII

Было это в середине прошлого века.

Жила в Лионе молодая и богатая женщина – мадам Гранье. Сохранился портрет её: глубокие темные глаза, улыбка, легкая рука в браслетах, небрежно лежащая на спадающей с плеч шали. Почти красавица. Мадам Гранье считала себя счастливой: муж, двое маленьких детей, любовь, спокойствие, верность. Но муж заболел раком и умер, а за ним в течение одной недели умерли и дети. Первой мыслью было – покончить с собой. Но самоубийство отталкивает натуры чистые и сильные, и мадам Гранье решила жить.

Не для себя, конечно: все личное было кончено, – а с тем, чтобы кому-нибудь быть полезной. Деньги свои она раздала и стала ухаживать за больными. Но больные больным рознь: мадам Гранье искала безнадежных, одиноких, всеми забытых. Услышала она как-то про нищенку-старуху, страдавшую раком лица, и пошла ее проведать. В подвале, на гнилой соломе лежал «живой труп», издающий нестерпимое зловоние. Ни глаз, ни носа, ни зубов – сплошная кровоточащая рана. Мадам Гранье промыла старухе лицо, кое-как одела и привезла в госпиталь. Врачи и сиделки отшатнулись и не пожелали иметь дело с больной: никогда они такого ужаса

не видели… Мадам Гранье убеждала, просила, умоляла их и, наконец, чуть не плача, сказала: «Да что с вами? чего вы боитесь? посмотрите, как она улыбается», – и прижалась к старухе щекой к щеке, – к гнойной багровой язве, – а потом поцеловала ее в губы.

История эта – напоминающая флоберовского «Юлиана» – была недавно рассказана в одной французской газете. В память мадам Гранье основа общество «Les Dames du Calvaire».

Все, что делают люди, и все, чем они живут, похоже по форме на конус или пирамиду: внизу, в основании – площадь огромна, и всякой отрасли легко находится свое место. Наверху все сходится. Что такое литература, что такое искусство? Я прочел рассказ о мадам Гранье и подумал: искусство должно быть похоже на то, что сделала она. Не в сострадании дело, а в победе над материей, в освобождении. Скрипки Моцарта поют об этом. И Павлова иногда была об этом, сама ничего не зная и не понимая. «Бессмертья, может быть, залог»: иначе не скажешь.

XXIX

А. когда-то заметил:

Есть понятия римские – и есть иерусалимские. Других нет.

И добавил: да не будет же Иерусалим побежден!

Он думал о христианстве, конечно: о том, почему «заповедь новая» была действительно новой, и о том, что без неё мир груб и пуст, – хотя бы никто ни во что уже не верил, хотя бы осталось у людей только немного чутья, понимания и памяти.

Да не будет же Иерусалим побежден! Загадочность «еврейского вопроса» в том, что вместе с мировым пожаром, который евреи зажгли, родилось и мировое сердце. Без их вклада мир не то что пресен – мир чёрств.

Наша святая Русь в лучшие свои моменты перекладывала на мягкий славянский лад старые, чудные, вдохновенно-дикие еврейские песни и забывала, что сложила их не она.

XXX

«Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как это странно сказано у Пушкина. Казалось бы, наоборот. Ум «не находит».

Христианство в догматической и метафизической своей части не то что невероятно: оно неправдоподобно. Если человек взглянет на мир как бы в первый раз, без всякой предвзятости и забывая всё, чему его научили, он не может не покачать головой, со смущением, с грустью: едва ли, едва ли! Едва ли – это. Мир текуч, безграничен, расплывчат внешне и внутренне, а это слишком уж стройно, слишком уж складно, со вступлением, изложением и заключением. Природа не в ладу с христианством не потому, конечно, что изучение природы его отвергает, а потому только, что она к нему никак не ведет, никак не располагает. Нет связи: пропасть. Природа, как она открывается в опыте, не драматична, не мистериальна. Христианство создалось будто в каком-то воспаленном сознании, а природа возвращает к спокойствию… Кажется, именно это оттолкнуло Гёте, так таинственно с природой сроднившегося, – хотя за два года до смерти он и сказал канцлеру Мюллеру, что «это не может быть превзойдено». Но только морально.

Вероятно, и Льву Толстому его глубокая интуиция всего жизненного, животного, природного помешала стать вполне христианином, – что отчетливо чувствуют даже самые ревностные его поклонники, не придающие значения разладу с синодом и другим недоразумениям. Звук, скрытая сущность толстовских писаний – вне христианства, как бы он к нему ни рвался. Толстому

противопоставляют Леонтьева или Соловьева. Но им было легко, у них не было и сотой доли его чутья и опыта, им нечего было преодолевать. А Розанов, единственный, у которого был нюх, кое в чем не уступавший толстовскому, так всю жизнь и проколебался, чувствуя, как никто, все «да» и «нет».

Но все-таки – «это не может быть превзойдено». Беречь, хранить, охранять стоит только это, – если человек не окончательно ещё отупел, не окаменел, не выродился, не сошел с ума.

XXXI

Непротивление злу у Достоевского.

Тема на первый взгляд парадоксальная. Самое соединение слов звучит парадоксально и может даже вызвать предположение, что вместо одного знаменитого имени по рассеянности названо другое. Оба имени ведь постоянно сталкиваются, оба стали частями единого, почти нераздельного нашего целого.

Но нет, ошибки нет. А хочется мне сказать на эту тему несколько слов потому, что перечитывая «Легенду о Великом Инквизиторе», внезапно я был поражен мыслью, никогда прежде в голову мне не приходившей: что такое в «Легенде» этот финальный поцелуй, в ответ на монолог, в котором «зла», злой воли, насмешливого и высокомерного мирского расчета более, чем достаточно, – что такое этот поцелуй? Разве не непротивление в чистейшем его виде?

Конечно, можно возразить, что Достоевский, приписывая Христу поступок, с учением о непротивлении злу находящийся в полном согласии, личной ответственности за него не принимает. Суждения Достоевского почти всегда двоятся, и во всём том, в частности, что говорит или рассказывает Иван Карамазов, отчетливо отражен спор автора с самим собой. Достоевский

предполагает, допускает многое такое, что, по-видимому, не решился бы утверждать.

Важно однако не это.

Важно то, что, по Достоевскому, Христос должен был именно так поступить, вместо всякого сопротивления, вместо всякого действия, – и, значит, содержание и смысл евангельской проповеди он, Достоевский, истолковал в согласии с Толстым.

Все возражения, делавшиеся Толстому, возражения, в которых апелляция к Достоевскому, безотчетная или сознательная, чувствуется постоянно, сводились именно к тому, что Христос сказал не совсем то, что соответствует точному смыслу его слов: буква евангельского учения – будто бы одно, дух – совсем другое… Именно эту мысль развивал, и с полемической точки зрения блестяще развивал, с присущей ему, в нашей литературе почти беспримерной находчивостью Владимир Соловьев, будто припертый к стене, принужденный изворачиваться, лишенный возможности отрицать, что о непротивлении злу в Евангелии сказано вполне точно и ясно. Буква – одно, дух, видите ли, нечто совсем другое: более удобного довода нельзя и найти, ибо после того, как «буква» отброшена, поле свободно, и «дух» мы вправе выдумывать какой угодно, в соответствии с нашими потребностями, вкусами и взглядами. Несомненно, Достоевский не хуже Соловьева понимал страшный житейский риск, связанный с «буквальным» истолкованием Евангелия и практическим применением евангельской проповеди, что иногда и побуждало его высказывать мысли иного рода, – правда, охотнее и откровеннее в «Дневнике писателя», чем в романах, то есть в публицистике, чем в процессе истинного творчества.

Но Соловьев был гораздо последовательнее и логичнее, – что, впрочем, следует сказать при сравнении

его не только с Достоевским, но и с другими нашими «государственно мыслящими» обличителями католичества. Соловьев – вопреки, например, Тютчеву, оказавшемуся в этой области в жестоком противоречии с самим собой, – был если и не на деле, то в сознании и в душе католиком. Соловьев понял сущность, природу и побуждение грандиозного исторического дела, предпринятого католицизмом, вгляделся в источник его – и преклонился перед ним.

У Достоевского тут произошло недоразумение: вместо благодарности Риму, – признавшему, что вольная церковная традиция оставляет столь же существенную часть веры, как и слова Христа, – он обрушился на него. Разгадка едва ли в близорукости Достоевского: уж кого-кого, а его упрекнуть в этом невозможно! Более правдоподобно предположение, что по совестливости своей, по чутью своей совести, более обостренной, конечно, чем у Соловьева, он отбросил доводы рассудка и в ужасе отшатнулся от основного римского стремления ограничить, обезвредить «безумие» евангельской проповеди[2].

Да, Достоевский колебался. С одной стороны, тянуло его к тому, чтобы вслед за Тютчевым обозвать папу «ватиканским далай-ламой», а с другой стороны… с другой стороны – монархия, государство, армия, иерархический порядок, право, наконец – творчество, наконец – вся культура: как же всё это могло бы существовать и уцелеть, если бы вечный Рим не устоял

[2] Знал ли он фразу Ренана: «История церкви есть история предательства» (или измены – trahison – в «Апостолах»)? Впрочем, по существу, для Ренана всё в этих делах было безразлично, и, не вдаваясь в обсуждение, кто прав, кто виноват, он под личиной исторического беспристрастия лишь «констатировал» со среднефранцузской антиклерикальной запальчивостью то, что Достоевского приводило в содрогание.

в схватке, начавшейся две тысячи лет тому назад, если бы не отстоял он от разгоравшегося пожара самые основания общественного устройства? Достоевский сомневался, колебался. Отважиться на то, чтобы «рискнуть миром», – как по выражению Бердяева сделал это Толстой, – он не решался.

Но что Христос сказал именно то, что хотел сказать, что «буква» и «дух» у Христа представляют одно и то же, что, даже не соглашаясь с Христом, мы не вправе слова Его перетолковывать, к чему бы они ни вели, – в этом Достоевский, очевидно, не сомневался. Или, вернее, не усомнился в минуту высокого своего просветления.

Иначе, как истолковать поцелуй?

А если иначе истолковать его нельзя, то выходит, что обе наши «духовные вершины» могли бы и договориться, и что во всяком случае были они друг с другом в согласии хоть и скрытом, но более тесном, чем это иногда кажется.

Или чем утверждают те, кто с полувековым опозданием хотел бы и их поссорить.

XXXII

В наше время мало осталось людей, которые настаивали бы на непримиримой розни науки и религии. Убеждение, что наука всё объяснит и что разум всесилен, вдохновляло век восемнадцатый, вольтеровский, вдохновляло и девятнадцатый век, правда, уже несколько смущенный кантовской критикой и менее стремительный в своем порыве вперед. В наши десятилетья, однако, наука натолкнулась на такие ошеломляющие неожиданности, что волей-неволей принуждена была стать скромнее. Внуки и правнуки Базарова продолжают резать лягушек, но без прежней заносчивой уверенности в том, что обнаружат и поймут тайну жизни. Физики и астрономы продолжают изучать состав материи

и строение Вселенной, но договариваются до таких выводов, которые в прошлом столетии угрожали бы им заключением в сумасшедший дом, – и чуть ли не каждый день приходится об этом читать и слышать. Кэмбриджская школа астрофизиков, одна из самых авторитетных в Англии, высказала, например, предположение, – не «с кондачка» же, конечно, а, очевидно на основании каких-то сложнейших догадок и соображений, – что вся Вселенная, во всём её непостижимо-беспредельном объеме, с мириадами ее светил и туманностей, возникла почти мгновенно, по нашему исчислению в несколько секунд, путем какого-то извержения или взрыва, из одной точки, как из рога изобилия. Иными словами, произошло «сотворение мира», то самое, чему нас учили в детстве, то, которое изобразил на известном полотне Айвазовский, только, пожалуй, без красивого старика, с изящно расчесанной бородой, витающего над безднами… Невероятно! Мысль почти что парализована изумлением. Но, очнувшись, сейчас же она идет дальше: а этот первоначальный «рог изобилия», откуда он возник? – и останавливается в недоумении, на которое никакая наука никогда не даст ответа.

Помню, Зинаида Гиппиус, смеясь, рассказывала както о своем разговоре с покойным Минором, удивлявшемся, что некоторые из его друзей ходят в церковь. «Помилуйте, это же в прежние времена люди верили в Бога и в чудеса… ну, гром там, или молния… воображение разыгрывалось… но теперь же это всё давно выяснено!». Лично я Минора не знал, сомневаюсь, однако, чтобы он мог быть так допотопно-наивен. Для комичности рассказа Гиппиус, вероятно, приукрасила его слова. Но, очевидно, что-то в этом роде он ей сказал, да и как было почтенному позитивисту и социалисту, одному из наших «последних могикан», одному из «стаи славных», блюстителю заветов и традиций, усомниться

на старости лет в том, что было для него всю жизнь синайской заповедью? «Царство науки …» – и так далее.

Предел, однако, есть. Разум понял, что он не всё может понять, – и в признании этого великая его заслуга, честь и достоинство его, истинный его «патент на благородство», а вовсе не повод к насмешкам, в наше время, к сожалению, распространенным. Разум – и его создание: наука не видят больше оснований с верой враждовать и в лице некоторых подлинных, недоморощенных своих «корифеев» склонны даже протянуть религии руку, что в прежние времена представило бы редкое исключение.

Но вера медлит. Вера – по крайней мере в традиционных своих формах – удручена не «ношей крестной», – о, эту ношу она принимает с восторгом и радостью! – а догматическим своим окаменением, разительно-мучительным несоответствием всего своего представления о мире тому, чего современный человек не может не знать и о чем он не может не думать… Именно в этом сейчас разлад религии и науки, разлад – в содержании церковной космогонии, и начинается он с того момента, как человек переступает порог церкви, католической, православной, протестантской, какой угодно. Из состояния взрослого он переводится обратно в состояние младенческое, притом не в евангельском смысле «будьте, как дети», а в другом, более элементарном, никакой духовной чистоты с собой не несущем. Нарицательный Минор смешон, но кое-что из того, чему обязан верить человек церковнопослушный, Минора оправдывает. Однако на деле, как всем известно, обычно бывает так, что человек ходит в церковь, крестится, исполняет обряды, кладет поклоны, а верит «постольку-поскольку», с оговорками и пропусками, ни во что особенно не вникая. Предложите, например, людям, выходящим от обедни, ответить

честно, искренне, откровенно – верят ли они в реальное существование дьявола. Девять десятых смутится, и если и не ответит твердо «нет», то примется бормотать: «Да как вам сказать?.., конечно, нельзя понимать дословно…» – или что-нибудь в этом роде. Признаем, что и нелегко примирить его существование с принципом Божьего всемогущества. Лучше, значит, и не задумываться над тем, чему церковь учит.

Но иные люди задумываются… Да, теперь не подходящее время для новых вселенских соборов, для нового догматического вдохновения, и трудно сказать, что в этой области можно было бы сделать. Глубоко верно и то, что далеко не в одних догматах дело, что угасающее христианское пламя раздуть догматическими поправками нельзя, и тщетно было бы на это надеяться. Для оживления веры нужно было бы нечто совсем другое, – ну, хотя бы то, чтобы папа, «наместник Христа», вышел из своего золоченого дворца и, босой и нищий, отправился проповедовать забытую «благую весть», как предсказывал Достоевский. Нужно было бы встряхнуть, всколыхнуть человечество, поразить воображение, влить в христианство свежую кровь, а не только убеждать доводами. О догматах пришлось бы подумать потом, позже, но значение они всё-таки имеют очень большое… Если всё оставить, как прежде, разлад будет с каждым поколением расти, церкви будут пустеть, безразличье к христианству будет усиливаться, и останется в конце концов и в лучшем случае лишь беспредметно-туманная вера во «что-то», в расплывчатую высшую силу, без имени, без лица, без судьбы.

О дьяволе и признании его существования я упомянул мимоходом. То, что в реальность дьявола мало кто верит, сравнительно не так существенно, хотя в общем метафизическом здании христианства это всё-таки один из краеугольных камней. Но по характеру своему

вся христианская догматика еще гораздо ближе к представлению, что боги живут на Олимпе, в двух шагах от людей, за которыми должны наблюдать, чем к тому образу Вселенной, который возник в новые века. Всё в ней отражает убеждение, – да и могло ли быть иначе? – что Земля, разумеется, плоская, а не круглая, с висящим над ней небом, есть средоточие мира, что Солнце вертится вокруг нас, как наш слуга, единственно для того, чтобы нас освещать, греть, – и так далее, и так далее… Есть что-то во всех этих картинах комнатное, домашнее, почти игрушечное, и когда вдруг вспомнишь, что где-то, в беспредельно-необъятных мировых пространствах, за невероятной тьмой, за невероятной пустотой и холодом, летят неизвестно куда, неизвестно почему и зачем, другие солнца, в миллионы раз превосходящие по размерам наше Солнце, и что свет от них доходит до нас только через миллионы и миллионы лет, и что, значит, если мы их и видим в телескопы, то лишь такими, какими были они миллионы лет тому назад, – когда вспомнишь всю эту ужасающую, леденящую бесчеловечность Вселенной, стоя в церкви, то и скажешь себе: а ведь, пожалуй, наш Бог, которому мы здесь молимся, – только маленький Бог, подчиненный другим или, может быть, равноправный с ними, но не тот, главный, единственный, абсолютно верховный, власть которого распространялась и над находящимися за Млечным путем мирами во времена, когда самой Земли еще не существовало… Но мысль эта нестерпима и подрывает веру в корне. Легче для человека нашего времени не верить ни во что, чем верить во что-то ограниченное и в мировом масштабе как бы уездное. Кощунственная мысль отброшена, человек остается с выбранным им «ничем»… Но если действительно жизнь, возникшая на земле, возникла лишь в результате игры слепых сил, как выигрыш в триллион-

но-квадрильонной мировой лотерее, ни к чему не ведущий и рано или поздно обреченный на бесследное исчезновение, если действительно, кроме нас, в мире никого не было, нет и не будет, пустота, мрак, клочья материи, глыбы камней, то как не сойти с ума среди всех этих Млечных путей со всей их квадриллионной бессмыслицей?

Вера должна, вера призвана внести некий порядок в это смятение, а между тем церковное представление о Боге, на словах вездесущем и всемогущем, едва-едва переросло прежние понятья о национальных, частных божествах, и даже распространяя Промысел на всё человечество, независимо от того, молятся ли отдельные народы Аллаху или Будде, – впрочем, и на это соглашаясь не без колебания, – церковь всё еще замыкает Бога в земные пределы, с Землей, как центром мира. Обращаясь к вере, цепляясь за нее, человек сам себе говорит: если нет победы над временем и пространством, то есть если то, что живет, бьется, трепещет во мне, не освобождено полностью от произвола понятий количественных, если этого нет, то вообще ничего нет, и тогда я песчинка из песчинок в непостижимом мне круговороте. Догмат должен бы стать выражением такой победы, заклинанием, призывом, волшебной формулой избавления от страха, – ибо всё-таки в основе веры лежит страх, и кое в чем Минор прав! – догмат должен быть свидетельством веры в высшую силу, для которой нет разницы между миллиметром и миллионом верст, между секундой и вечностью. Но наша догматика именно временем и пространством и ограничена, ей не достает того, что Шпенглер назвал «фаустовским чувством», новым сознанием беспредельности мира. Она создана в века, когда чувство это еще никому не было ведомо.

У Розанова, если не ошибаюсь в «Апокалипсисе», есть чрезвычайно странная страница, странная по своему

простодушию и обманчивой логичности. Ему однажды пришло в голову, что солнце – это и есть Бог. Мысль сама по себе глубочайше-естественная, коренная, древняя, как сам человеческий род. Но тут же Розанов со смятением обратился ко Христу:

– Значит, Ты – не Бог?

Почему? Почему? Почему? Какое детское, механическое сцепление суждений! Одно другому не противоречит, и если в Символе Веры о возможной божественности, – то есть о живой чудотворности солнца, – ничего не сказано, то разве всё в Символе Веры сказано? И с другой стороны, разве то, что в Символе Веры сказано, может быть в наше время полностью, без единого исключения предметом веры?

«И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца…».

Для чего слова эти читаются или поются за каждой обедней, православной, католической, протестантской? Несомненно, для того, чтобы все присутствующие прониклись буквальной и совершенной истинностью их, без каких либо кривотолков. Вознесся на небеса в той плоти, которая и после Воскресения была по учению церкви настоящей человеческой плотью, той же самой, которая изнемогала на Кресте, той, от которой в земле, в добычу разложения и смрада, не осталось ни малейшей частицы. Вознесся на небо и сидит теперь по правую руку от Создателя Вселенной… Но что такое небо? Разве вообще существует небо? Самое понятие это, вдохновлявшее и религию, и поэзию, и всё человеческое творчество в течение веков, – до лермонтовского «неба полуночи», самого глубокого вздоха о потустороннем во всей русской литературе, – понятие это внезапно обанкротилось, лишилось смысла: неба нет, как нет во Вселенной, вне земного притяжения, никакого «верха» и «низа». Среди всех христианских

догматов догмат Вознесения представляет собой образец того, во что верить труднее всего. Никакие сделки с умом и воображением помочь тут ничему не могут: невозможно! – и не потому, что «quia absnrdum», в каком-нибудь сверхразумном смысле, а наоборот, потому, что содержание догмата внушено представлением, когда-то находившимся в согласии с разумом. Едва ли кто-нибудь теперь в него действительно верит, и даже люди благочестивые говорят о теле просветленном, призрачном, чуть ли не «астральном». Об этом говорил Бердяев, в остальном заботившийся о том, чтобы не слишком Церкви противоречить, да говорят и другие мыслители, чувствующие невозможность оставить всё в прежнем виде, без поправок.

Но церковь поправок не допускает. По учению церкви, вознеслось тело вполне вещественное, а не «астральное», – иначе неизбежно надо допустить разложение в могиле.

А ведь в «астральной» поправке, распространяющейся, конечно, и на основной христианский догмат, на самое знаменательное из чудес: на догмат и чудо Воскресения, – в поправке этой ни кощунства, ни предательства нет, хотя она и не в ладу с Символом Веры. Есть в ней даже что-то праведно-нравственное, милосердное, способное вызвать в ответ не смущение сердца, а порыв благодарности. Да, то тело, с мускулами, кровью и всем, что составляет и наши тела, разложилось и истлело. Но если Он в милосердии своем, в снисхождении своем, согласился быть человеком, то не распространяется ли это милосердие, это снисхождение и на смерть, то есть не мог ли Он согласиться и умереть такой же смертью, какой умрем все мы, со смрадом, зловонием и всей мерзостью смерти? Не углубляется ли при этом догмат, не восстает ли образ

Его в чистейшем сиянии? Не утверждается ли дело Его тем, что Он преодолел смерть как исчезновение, и мог явиться ученикам после того, как умер действительной, настоящей смертью, единой для всего сущего, без телесно-материального восстановления?

Церковь до сих пор учит: «Чаю воскресения мертвых» – и, значит, приглашает верить во всечеловеческое восстание из гробов, в согласии с нашим святым и сумасшедшим рационалистом Федоровым. Но верит ли кто-нибудь действительно в воскресение мертвецов? Эллинизация христианства, неотразимая и неуловимая, отчасти в том и сказалась, что греческая, платоновская, великая идея бессмертия души преобразила и почти вытеснила в сознаниях тяжелую еврейскую идею воскресения трупов, – и мало-помалу окрылила христианство, внесла в него воздух и освобождение, разрешила какие-то мучительные, двоящиеся, загадочные противоречья, заложенные в самой основе человеческого существа. «Чаю бессмертия души»: без этого не было бы средневековых соборов, с их дивно-взвивающимися в беспредельность игольчатыми башнями, не было бы «безбрежной мечтательности» – по Достоевскому – протестантизма, не было бы, конечно, и самого Достоевского, ни Паскаля, ни Данте, ни Лермонтова, ни многих других.

«Чаю бессмертия всех душ», и хороших и плохих, – потому что если были они плохими, то разве по своей вине? Чаю бесстрашия перед бесконечным пространством и бесконечным временем, и пусть сгниет то, что сгнить должно, ночью, под звон пасхальных колоколов, со свечами, задуваемыми весенним ветром, нет ничего, что сильнее и радостнее объединяло бы людей, сошедшихся вспомнить о самом нужном им обещании и торжестве.

XXXIII

Перечитывая Чаадаева.

Не много на свете книг, которые выдерживают второе или третье чтение без того, чтобы не вызвать разочарования. Казалось мне, чаадаевские «Письма» – одна из таких книг. Но нет, есть в них всё-таки что-то «салонное», пусть и в самом высоком смысле этого слова. Есть что-то преувеличенно надменное, нарочито-ледяное и леденящее, чуть-чуть декламационное. Обвинительный акт России надо было бы написать иначе, в более русском складе, возможном даже при том условии, что Чаадаев писал по-французски. Надо было бы написать его изнутри, а не в позе постороннего наблюдателя.

Но действует до сих пор, и неотразимо действует, глубокая грусть, которой письма проникнуты. Действует музыка, в них звучащая, – не совсем, может быть, русская, но настоящая, и редкого качества… Это Чаадаеву зачтется, это останется за ним навсегда. После него всё-таки мало кого из русских мыслителей можно вспомнить, не чувствуя падения, разве что Герцена, – да и то не целиком, а преимущественно те его страницы, где он не столько «борец за светлое будущее», сколько стареющий, чуть ли не во всем усомнившийся человек. Или Конст. Леонтьева.

Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждения о ней. Русский «квасной» или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать. От Батюшкова с его постыдным сверхквасным афоризмом о Кремле, этом будто бы «прекраснейшем месте на земном шаре, в прекраснейшем городе, принадлежащем величайшему в мире народу», от Гоголя с его злосчастной тройкой до нынешних советских вариаций на те же мотивы и темы, всё это ничего, кроме тошноты, не вызывает, – тем более, что меры русский человек, как известно, ни в чем не знает, и уж если почудилась

его расстроенному воображению удалая тройка, то должна она опрокинуть решительно всё на свете. И наоборот, едва только услышишь отрицания, вроде чаадаевского, или вроде полюбившихся Мережковскому печеринских строк:

Как сладостно отчизну ненавидеть…

хочется сказать: да, может быть, а всё-таки… И эти «всё-таки» уходят так глубоко, что упреки теряют значение. Защитительные доводы, сталкиваются, дополняют, обгоняют друг друга, пока мало-помалу не добираются до самых начал человеческой жизни: да, верно, то плохо, и это сомнительно, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях есть все-таки основания для преданности и даже гордости.

Замысел провалился, что тут спорить (или по Бердяеву, почти всегда искажающему и как бы компрометирующему свои простые и верные мысли своим дурным стилем: «то, что Бог думает о России…»)! Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а только беспокойное, как бы от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться. Чаадаев судит о России с высоты многовековой, величавой и по-своему удавшейся цивилизации. Но ему и в голову не приходит спросить себя: что в этой цивилизации, носящей имя христианской, осталось от христианства? И даже больше: возможно ли соединение понятий «культура» и «христианство» без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?

XXXIV

Колебания, конечно, этим и вызваны: не удалось почти ничего, но хотели-то мы больше того, что уда-

лось сделать другим. Или, по крайней мере, мечтали о большем… Если мы и вправе гордиться, то не тем, чего мы добились, а лишь тем, что мы хотели и чего не могли сделать, то есть высокой неосуществимостью русских стремлений, невозможностью воплотить их в государственных и социальных формах.

Упоенный собою русский именно тем и жалок, что этого не понимает и при тяжбе с Западом уверен в своем реальном, ощутимом, осуществленном превосходстве. «Где им, всякой там немчуре и французишкам, до нас!» – Кто же этого не слышал? Кто не уловит в нынешних московских восхвалениях родины того, что существовало и прежде, но что прежде вызывало усмешку? Крайности всегда сходятся, и тройки, поразному запряженные, с разными ямщиками на козлах, мчатся по родным раздольям всё те же. Еще недавно, здесь, в эмиграции, Шмелев только этим и дышал, и жил. Шмелев казался очень русским писателем, уж таким русским, что «русее» и не бывает, а на деле он при своем – для меня несомненном и большом таланте, при своей страдальческой искренности, – был отступником и вел от имени России запоздалую, измельчавшую, выдохшуюся славянофильскую игру, которая ничем, кроме конфуза, кончиться не может. По-своему он любил Россию – «до самозабвения», по собственным своим словам. Но любил, так сказать, беспрепятственно, сам себя обманывая, и о каком ни говорил бы он величии, величию этому грош цена.

Впрочем, можно и совсем по-иному объяснить, почему нестерпим упоенный собой русский человек. Но это и тема совсем другая, с уклоном скорей к психологии, чем к истории.

Беседуя с французом, немцем, англичанином или американцем, мы не так хорошо его понимаем, как понимаем русского. Язык и возможные затруднения в его

оттенках тут решающей роли не играют, и даже, если логический смысл речи вполне ясен, что-то в «обертонах» ее ускользает. Скажите что-нибудь плоское и пустое русский: иностранец, пожалуй, не поморщится, как сразу поморщимся мы, – и, наоборот, к фальши французской, немецкой, всякой другой, окажемся именно мы, а не иностранцы, менее чувствительны. Французские водевили, например, французские шаловливые песенки многим из нас нравятся, а всё русское в таком же роде ничего, кроме тоскливого недоумения, не вызывает… Может быть, действительно, французы в этой своей специальности искуснее нас, может быть, они легче и бойчее нас остроумничают, допустим, но дело не в этом. Дело в том, что сквозь отечественную русскую пошлость мы отчетливее улавливаем кое-что из убожества вечного и общечеловеческого. Нас ничто не отвлекает от ее созерцания, и по звуку голоса, усмешке, по какой-нибудь вскользь брошенной прибаутке мы безошибочно восстанавливаем целый, во всех мелочах нам знакомый, удручающий мир, будто по одному позвонку – целого мамонта. А с французом или американцем мы позвонок держим в руке, не зная, откуда он и куда его отнести. Конечно, и чужеземная кичливость бывает досадна сама по себе. Но кичливость русскую воображение невольно дополняет душком из былых истинно русских чайных, со всеми их достопамятными атрибутами…

От того-то, вероятно, русское самодовольство отталкивает нас сильнее всякого другого, независимо от вопроса, где для него больше оснований. И, – продолжая мысль, – не в этом ли слухе к соотечественникам ключ ко всему гневному и презрительному, что писал Байрон об англичанах, Шопенгауэр о немцах или Бодлер о французах, вплоть до Розанова, признававшегося, что случается ему содрогаться при одном упоминании

о русских? Пессимизм рождается от столкновения с людьми, насчет которых не может остаться иллюзий. По справедливости следует сказать, что и хорошее в близких по языку и крови людях яснее, чем в других.

Писатели, в особенности романисты психологического и бытового типа, поступили бы благоразумно, если бы взяли за правило рассказывать преимущественно о соотечественниках. Клюква бывает разная, от смехотворно-нелепой до едва уловимой, и как бы ни был правдоподобен внешний облик, некоторая внутренняя схематичность в изображении людей, в иных условиях сложившихся, дает себя знать почти неизбежно. Слепок грубее, приблизительнее. Даже в «Войне и мире» французы (капитан Рамбаль, например, не говоря уж о Наполеоне) – не вполне живые люди вне той таинственно-естественной атмосферы, в которой движутся остальные толстовские герои.

XXXV

Молодой человек, который в двадцать лет или даже раньше, прочтя Достоевского, не был бы потрясен «до мозга костей», не был бы ранен как будто в самое сердце, не ходил бы сбитый с толку, недоумевающий, измученный тысячью сомнений, такой молодой человек должен бы внушить недоверие. Конечно, не о всех молодых людях речь. Существуют прекрасные, добрые, честные молодые люди, так сказать «спортивного» склада, с которых никакие потрясения не спросятся. Но я говорю о тех, с которых «спросится».

Нет писателя, который лучше, чем Достоевский, выразил бы и полнее дал бы почувствовать отсутствие правды в мире, боль жизни, всё-таки, порой слишком острую, чтобы с буддийским спокойствием отнести ее к явлениям естественным. Правда – слово расплывчатое: что есть правда, «что есть истина?» Что такое

справедливость? Но точного определения быть и не может… Что-то «не то» и «не так» в жизни, частью по вине людей, частью независимо от них, и, значит, ни по чьей вине. Достоевский это уловил. От Достоевского сводит скулы, пересыхает в горле, и вовсе не после какого-либо отдельного его рассуждения, нет, а от общего, ужасного неблагополучия представленного им мира. В молодости именно к этому неблагополучию сознание чувствительно: оно его не предвидело, оно еще не утратило своей детской доверчивости. Молодой человек останавливается в тревожном изумлении: как, неужели это и есть жизнь? Откуда всё это? Как же мне в такой жизни участвовать? Как исправить, можно ли помочь? Да, это первое, ни с чем не сравнимое впечатление от Достоевского благотворно и неизбежно, если только у молодого человека живая душа. Да, да, бесспорно…

Но…

Но тот, кто позднее не почувствовал бы, что и у самого Достоевского в его видениях и вымыслах что-то «не то» и «не так», что есть нечто глубоко произвольное в его основном творческом представлении, тот тоже может внушить недоверие. Недоверие другого рода: не к своей душевной отзывчивости, а, скорей, к своей умственной требовательности, к способности отличить существенное от случайного, найденное от выдуманного, то есть к тому, без чего нет настоящей зрелости. До чего у Достоевского всё преувеличено, до чего схематично, «умышленно», если воспользоваться его же выражением, и как шатко это грандиозное здание, как торопливо, в каком смутном, рассеянном вдохновении оно возведено, будто из огромных, невиданных камней, однако без фундамента!

Если у меня всегда было и до сих пор остается какое-то сомнение в отношении Андрэ Жида, одного

из самых проницательных людей нашего времени, то в числе других причин и потому, что он до глубокой старости сохранил фанатическую преданность Достоевскому. Как он, казалось бы, всё понимавший, во всём безошибочно разбиравшийся, мог тут сорваться и срыва не почувствовать? Андрэ Жид был чрезвычайно умен, и притом ум у него был не столько творческий, деятельный, полный своего содержания – что нередко приводит к тому, что в голове не умещаются чуждые, чужие мысли, и она отшвыривает их как вздор, – сколько восприимчивый, открытый. А на Достоевском он споткнулся. Он читал Достоевского всю жизнь, он питался им и всё-таки его недопонял. Может быть, объяснение в том, что Жид не знал русского языка. Достаточно сличить две-три странички любого из французских переводов Достоевского с оригинальным текстом, чтобы убедиться, что главное, то, непередаваемо «достоевское», улетучилось, и что в гладких, плавных фразах нет и следа знакомого нам, лихорадочного, вкрадчивого, назойливого, единственного, неповторимого, несносного говорка.

XXXVI

При всем том, что произошло в последние десятилетия, при тех сквозняках, которые дуют теперь во все щели нашего мира, Достоевский должен был стать властителем дум и душ. Иногда говорят, что литература влияет на жизнь, а не жизнь на литературу: нет, едва ли. Достоевский, может быть, и повлиял на душевный облик наших современников, но только потому, что время само подготовило ему почву для этого. Революции и войны расшатали умы и нервы, наполнили человеческие души отвращением к установившемуся укладу существования, создали тот тип анархически-мечтательного, раздраженного и как-то навыворот-эстетствующего интеллигента, которых в наше время хоть пруд пруди.

У него, у Достоевского, были свои причины быть больным. У его теперешних поклонников – причины совсем другие. Но в состоянии обнаружилось соответствие и нашлись черты если и не вполне одинаковые, то сходящиеся, одна за другую цепляющиеся, и это-то и вызвало страстное, исключительное влечение. Осуждать нечего и некого, но и разделять всеобщие восторги не обязательно. Достоевский ответственен за очень многое в современных литературных и художественных настроениях, – не виноват, а именно ответственен, – и право, если хочется сказать «ответственен за порчу вкуса», то не в том значении слова «вкус», которое подразумевает любовь к изящным картинам и звучным стихам. Он ответственен за показную, непроверенную тревогу, возникшую в подражанию ему, за опрометчивость в основных положениях, за новизну «во что бы то ни стало», провозглашенную, увы, Бодлером, но которую он, Достоевский, всеми своими открытиями и догадками, сам о том не думая, утвердил, ответственен за уверенность, что всё, что угодно можно вообразить и изобразить, раз мир всё равно с каждым годом всё больше уподобляется сумасшедшему дому. Короче, за коренную беззаконность тех или иных положений, за безумное метафизическое «всё позволено», которое, раз прорвавшись, не скоро и не легко будет загнано обратно.

Достоевский, будто весь вытянувшись, глотнул воздуха, которым до него никто не дышал, и, собственно говоря, главный, даже единственно важный вопрос сводится к тому, был ли его опыт трагически-никчемным экспериментом, с неизбежным финалом у разбитого корыта, или действительно был обогащением, расширением горизонта. Было прозрение или был бред?

Вопрос риторический, если отнести его к тем людям, которые теперь распоряжаются наследием Досто-

евского как своим неотъемлемым достоянием. Никаких нет просветов из нашей жизни в иную, крышка захлопнута плотно, окончательно, нравится нам это или нет! Достоевский-то сам, может быть, и в силах был в своей разреженной атмосфере жить, но у них, у его последователей, закружилась голова, только и всего, и принялись они болтать лишнее, высокомерно поглядывая на тех, кто остался в стороне. Им-то что, им море по колена, и миражами своими они восхищены, – до тех пор пока не настанет утро, рассвет, и всё опять не водворится на свои прежние места. Скучные, бедные места, пусть и в скучном, бедном, плоском мире! Но других нет, и не стоит обольщаться, чтоб в конце концов, опять стукнуться головой о крышку.

Всё это должно было когда-нибудь обнаружиться. Достоевский заплатит, вероятно, за свое теперешнее влияние и славу долгим, на некоторое время даже преувеличенным помрачением, не той умеренной, почтительной переоценкой, которая постигла Тургенева, а озлобленной, несправедливой, вроде как после выхода из ловушки. Кстати, Толстой, не любивший ни того, ни другого, сказал: «Тургенев переживет Достоевского» (у Бирюкова). Что это значит? Не мог же он не сознавать, что всё-таки во всех отношениях Достоевский больше Тургенева, даже и как художник. По-видимому, Толстой о чем-то подобном и думал, и сопоставляя сравнительно-скромную и однообразную кухню с другой, роскошной, но сильно приперченной, оказал доверие первой.

XXXVII

«Проблемы…»

Если говорить о «проблемах», то, разумеется, Достоевский неизмеримо щедрее и занимательнее Толстого.

Да и кто же не знает, что задетыми или поднятыми им вопросами живет добрая половина новейшей западной литературы?

Но «проблемы» по существу призрачны, условны и требуют несколько суетливого участия в современной умственной путанице, без чего исчезают. «Проблемы» требуют аппетита к этой путанице. Конечно, бессовестно было бы со стороны любого из нас притворяться многомудрым пустынником, для которого ничто, кроме вечности, не имеет значения, и уж лучше окончательно в «проблемах» увязнуть, чем ломать комедию. Но Толстой-то комедии не ломал, и для него действительно «проблем», во множественном числе, не существовало. Он о них, вероятно, и не думал, а может быть, по складу его огромного, но малоподвижного, плохо дробившегося ума, они и не были ему доступны. Для «проблем» нужно проникать в щели, а глыба в щели не пройдет… Как бы то ни было, Толстой был на том духовном уровне, при котором «проблем» не *еще* нет, а *уже* нет.

Когда-то, в Петербурге, еще до революции, Вячеслав Иванов в прениях по чьему-то докладу, сказал фразу, поразившую меня и запомнившуюся, – и какой он был мастер окутывать всякую, даже заурядную свою мысль волшебными туманами! «В природе нет алгебры, ее выдумал человек…» Не совсем верно, если вдуматься. В строении природы алгебра есть, но она от человека скрыта, и человек ее не выдумал, а обнаружил. «Проблемы» тоже не выдуманы, но в стихиях действительно их нет: возникают они, скорее, в истории. Основное же отличие Достоевского от Толстого именно в том, что у одного был слух и чутье к истории, при более чем натянутых отношениях с природой, а другой только в природе, то есть в стихиях, и жил, посматривая на историю хмурым, рассеянным и недоверчивым взглядом.

История движется, дробится, стирает в порошок человеческие судьбы и в ходе своем не может не оставлять за собой тысячи недоумений и загадок. Достоевский опередил свою эпоху, уловив, подхватив всё, что она несла или только обещала, и наполнил свои романы намеками, отражениями, возражениями, утверждениями, развитием, искажениями ее сложнейшего идейного содержания. Читая «Бесы», например, мы невольно переносимся к тому, что происходит сейчас и спрашиваем себя, верно ли оказалось пророчество. А иногда современность, «актуальность» Достоевского сказывается и в менее отчетливом виде, доходя до едва различаемых оттенков в воззрениях и суждениях. Ницше признавался, что научился у Достоевского большему, чем у кого бы то ни было, а от Ницше до, скажем, Сартра заимствования продолжались непрерывно, порой безотчетно, порой сознательно, но всегда с такой наглядностью в преемственности, что без Достоевского, кажется, иные авторы и появиться на свет не могли бы.

Достоевский необычайно «интересный» писатель, и есть какое-то странное – и стоящее того, чтобы над ним задуматься! – соответствие между полицейски-авантюрной занятностью его фабул и тревожным, дразнящим изобилием затронутых им «проблем». У одного дух захватывает от любопытства, кто убил старика Карамазова, или сознается ли Раскольников, у других от того, можно ли вернуть билет на право входа в жизнь или что именно символизируется банкой с пауками, но глаза горят, книга зачитывается «до дыр», ночь проходит без сна. Конечно, и над «Анной Карениной» ночь порой проходит без сна. Но едва ли с тем же голым любопытством, едва ли с волнением, вызванным какой-либо особенно животрепещущей «проблемой». Алэн, большой французский философ, тончайший аналитический ум и, притом страстный почитатель Толстого, сказал о его мыслях: «…ces robustes pensees

de l'age de fer»… И совершенно верно: железный, даже каменный век! В природе нет «проблем», нет личности, свободы, большевизма, всеобщей ответственности, государственной необходимости, европейской культуры, «страны святых чудес» и прочего и прочего, а два-три вечных, как сама природа, вопроса не поддаются ни развитию, ни разработке, и притом всё-таки несут в себе всю мировую поэзию, всё искусство от первого дня до последнего. Неизвестность остается в точности такой же, какой была тысячи лет тому назад и какой будет через другие тысячи лет. В промежутке можно, разумеется, заниматься «проблемами», и даже не только можно, но и необходимо, – поскольку человек в истории живет, от нее страдает и с ней связывает свои надежды. Еще раз скажу: нелепо и бесчестно для среднего человека пофыркивать на историю, бежать от нее и от ее неурядиц, прикрывая бегство мнимой преданностью мнимым высшим, «единым на потребу», интересам. Но когда раз в столетье является человек, естественно обращенный лишь к «самому важному», нельзя и не почувствовать своего перед ним ничтожества.

(Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским. Дурное слово, не само по себе дурное, а будто развращенное дурным и часто никчемным употреблением! Один видный философ-богослов читал несколько лет тому назад в Париже публичную лекцию, озаглавленную «Проблема рая»! Ну, как после этого не почувствовать к «проблемам» отвращения!)

XXXVIII

В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе – только эпизод.

Но революция, война – тоже эпизоды… И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии теперь сказать того, что сказал бы он – о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории… Есть, правда, сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель, у которого чутья больше, чем дарования, – Ремарк в «Триумфальной Арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул по ней, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?

Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который на эту тему поговорил бы с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать всё случившееся раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников, он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то всё же осталось бы утешение, что кто-то хоть попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века! Ну да человек бывает в положении, когда он никому не нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, всё прочее, дивная наша музыка, для того ли… ловлю себя на желании перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом своем шлеме»

и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцом пиджачке»… для того ли, чтобы прийти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад вспыхнул пожар, чтобы при последних его догорающих угольках невозмутимо связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И притом с передержками, с недомолвками и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме? Ну, да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-нибудь довзойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что всё-таки нет масс как неделимого целого, а есть миллионы отдельных воль, стремлений и возможных страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ большинства, силы, молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч?.. Я только начинаю бередить тему, и уже, как бирюльки, вопрос тянется за вопросом.

Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил среди декораций и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще держащихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что сказать остальному миру. Но еще раз, еще раз, еще раз, как жаль, что нет Достоевского! История

ошиблась, поторопилась выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он один нашел бы в наши дни вдохновенье для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.

Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами. Но корень советской вражды к Достоевскому, несомненно глубже. Из реакционера сделать передового, бодрого, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить – Гоголя к юбилею там препарировали так, что от его реакционности, да и от всех его мучений и сомнений, не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот беспокойный, взрывчатый его склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, – по-моему, самое проницательное, что о Достоевском вообще было сказано, – «в нем есть что-то еврейское» – вспоминается сразу, как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени были и остаются эмиграцией человечества, с теми же темами, теми же обидами и укорами.

XXXIX

Мережковский: «Они нас ненавидят, и они нас боятся».

Они – это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждает, что ему давно уже приходится сталкиваться с глухой неприязнью к России, и что отношение это вовсе не ново и выходит далеко за пределы теперешней политики. По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», притворно ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.

Действительно, неприязни ко всему русскому на Западе много. В частности, через все пренебрежительные оценки, через отрицательные рассуждения о России проходит одна мысль: Россия ничего оригинального не создала, она всё заимствовала у других. Это было одним из основных доводов Чаадаева, об этом писал маркиз де Кюстин в книге, возведенной теперь в «пророческие», и где при несомненном уме и остроте взгляда есть и изрядная доля невежества, лжи и вздора. А с тех пор это повторяется на все лады. Даже Тургенев в «Дыме», раздраженный слепым и наивным русским мессианизмом, несколько опрометчиво присоединился к общему хору. В России будто бы нет ничего, полностью ей принадлежащего, кроме варварства, рабства, тьмы и в лучшем случае какой-то нигилистической жажды всё стереть с лица земли ради неясных будущих свершений.

Не будем сейчас спорить «по существу». Согласимся, что действительно русская цивилизация в последние два века была кое в чем слепком с цивилизации европейской… Но она-то сама, эта новая европейская культура, полностью ли она самостоятельна и оригинальна? Всё то, чем она живет, ею ли единственно и создано? В вопросе этом нет никакого злорадства, нет и тени полемической запальчивости. Наоборот, Европа была и остается для нас «страной святых чудес», тысячу раз я готов повторить это, но, с совершенной искренностью кланяясь ей, храня в сердце бесконечную ей благодарность, позволительно вспомнить всё-таки, что и ей самой есть кого благодарить за уроки. Весь смысл культуры – в преемственности, в отказе от национальных «авторских прав», и нельзя, не сойдя с ума, требовать в этой области оригинальности во что бы то ни стало. Новая Европа ничуть не теряет своей «святости» от сознания, что она не только творила, а и перерабатывала. Но пусть и за нами признает она право на переработку.

В нашем мире было только два подлинных, несомненных первоисточника – Афины и Иерусалим, да еще, пожалуй – но в меньшей все-таки степени, на более низком уровне, – Рим, откуда человечество взяло государственные и правовые идеи. Бесспорно, и английская, и французская, и итальянская культуры внесли что-то свое, неотъемлемое в общее достояние. Англии мир обязан высоким понятьем гражданственности, истинного народовластия, – но даже и это, казалось бы, столь характерно-британское по духу, британски-горделивое по складу, могло ли бы оно возникнуть без того, чтобы римские и палестинские веяния, скрестившись и смешавшись, не принесли плодов? А Франция? «Париж – новые Афины», – как с видимым и понятным удовлетворением говорят сами французы. Действительно, это новые Афины, откуда в течение нескольких веков струился свет на весь остальной Запад. Но ведь те-то, настоящие Афины, маленький город на пыльных, раскаленных скалах, чудо истории, никаких сравнений в памяти не вызывали? Ренан ездил молиться на ступенях Акрополя, и был прав: если у него был Бог, то именно тот, который там впервые людям открылся. Паскаль, конечно, поехал бы молиться в другой город, дальше на Восток, но и он чувствовал, что его «дом», его истинная «родина» – вне той земли, где приходится ему жить. В Британском музее хранятся обломки мраморов, когда-то украшавших Парфенон; на них поистине «без волнения смотреть невозможно», и вовсе не потому, чтобы они действительно казались так исключительно прекрасны, – в этом разбирается один человек из тысячи! – а потому, что они «оттуда», что их видел Платон, видел Софокл… Все европейское пришло «оттуда», осложнившись в течение веков иными, христианскими мотивами. «Фаустовское», по Шпенглеру, томление о бесконечности – от христианства.

Нет в новой европейской культуре ни одной великой книги, ни одного сколько-нибудь значительного явления без этой двоящейся родословной, и, следовательно, оригинальность этой культуры всё-таки условна, и в процессе ее ковки были переплавлены иные, не ей принадлежащие руды… Конечно, нас, русских, всё это было проделано слишком торопливо, и даже с каким-то механическим привкусом, что и вызвало нескончаемый, неразрешимый славянофильско-западнический спор. Конечно, мы многое получили в готовом виде, из вторых рук. Конечно, были мы не столько наследниками, сколько учениками. Но если бы древний римлянин взглянул на то, что сделали потомки презираемых им готов и галлов, он, пожалуй, тоже обвинил бы их в обезьяничаньи, – и при этом тоже ошибся бы. В культуре почти всё то, что кажется подражанием, есть продолжение, обработка, усвоение общих сокровищ, а сказать, что Россия ничего в этом смысле не сделала, может только тот, кто склонен заведомо называть белое черным! Нас попрекают Византией, вернее византийством, темным, формальным, лукавым византийским духом, – но неужели русское христианство, например, у Нила Сорского или более позднее, вплоть до Федорова, византийским и осталось? Или неужели сквозь «галломанию» не прикоснулась Россия к другому, вечному источнику всяческой ясности и гармонии?[3]

До известной степени, значит, и со всякими оговорками, и «мы», и «они» – в одном положении, и «мы» и «они» должны бы сознавать себя должниками. Разница

[3] Тэн – по свидетельству М. де Вогюэ – утверждал, что Тургенев – «единственный эллин в новой литературе». Это, конечно, преувеличение. Но возможно, что сквозь Тургенева Тэн почувствовал его учителя Пушкина, и если это так, никакого преувеличения в словах его нет.

есть. История оказалась к «ним» гораздо благосклоннее. Но и «мы», и «они» живем на чужой счет.

Спора не стоит начинать. Спор был бы пустым, а по нынешним временам даже и тягостным. Спорить, в сущности, и не о чем, и будущее рано или поздно наведет во всех этих недоразумениях порядок. Но трудно оставить без возражений или хотя бы только примечаний, всё то несправедливое, что было о России сказано и написано.

XL

Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно-слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух её не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд – пустяк, очередная глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее прибежище негодяя – патриотизм», сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошёл сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было

бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому.

Отчего же все-таки мы уехали из России? Или, точнее, раскаиваться ли в том, что уехали, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, может быть, и оправданным, но всё-таки несчастьем, тяжкой бедой, на нашу долю выпавшей?

Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений и разъяснений, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические выводы, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех её проявлениях, поскольку всё это искупается с лихвой – с огромной, неисчислимой лихвой – ощущением какой-то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей задачи! Даже больше: освобождения, – как бывало после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго остававшийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен, и линии его сошлись. Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы, скорей, сплоховали… Братья-беженцы, по всему свету рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что есть руки, которые протянулись бы в ответ.

Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своём, особом обличии, в своей внутренней тональности и, право, политика тут ни при чём или, во всяком случае, при чём-то второстепенном. Да, бесспорно, революция дала нашей судьбе опреде-

лённые бытовые формы, отъезд фактический, а не аллегорический был вызван именно революцией, именно крушением привычного для нас мира. Разумеется, возможность писать по-своему, думать и жить по-своему, пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть? Но не всё этим исчерпывается, а если бы этим исчерпалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слёз нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.

Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, по-видимому, к тому, что сделал Пётр, – сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические ткани не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность тут едва намечена, и, думая о ней, убеждаешься, что найти для неё твёрдые обоснования было бы трудно. Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжёлая, тяжелодумная, – впрочем, тут подвёртываются под перо десятки эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая», – одна Россия как бы выпирает другую, не то что ненавидя её, а скорей не понимая её, косясь на неё с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. Другая, вторая Россия… для неё подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в её облике то, что она не сомневается в полноправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна; «космополит – нуль, хуже нуля», сказал, если не изменяет мне память, Тургенев

в «Рудине». На что бы она не натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она – Россия, дух от духа её, плоть от плоти её, и никакими охотнорядскими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или новейшими, этого её убеждения не поколебать.

Мережковский когда-то сказал в «Зеленой лампе», – и слова его поразили меня своей меткостью – или, может быть, думаю я теперь, тем неподражаемым умением преподносить эффектные афоризмы как глубоко проникновенные мысли, которым Мережковский отличался в своих словесных импровизациях под конец публичных споров: «Первым русским эмигрантом был Чаадаев».

Нет, это только поверхностно верно, хотя высочайший диагноз, признававший Чаадаева умалишенным, и совпадает с некоторыми теперешними утверждениями. Чаадаев очень умён, но надменен и в самом одиночестве своем, с примесью дендизма, как-то вызывающе декоративен: нет, гарольдов плащ москвичам не совсем к лицу. Но замечательно всё-таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло задолго до неё. Не Чаадаев, так кто-нибудь другой, не одна книга, так строчка тут, полстранички там, обрывок стихотворения, вздох, не нашедший логического выражения, воспринятый современниками как нелепость, но предвидение отрыва, отказа, освобождения, смутное предчувствие короткого, как молния, счастья средь повседневных наших дел, да, «лицемерных», средь «всякой пошлости и прозы».

Эмигрантская литература должна была бы это подхватить. От чаадаевского наследия отталкивало её, однако, то, что она отнюдь не была склонна променять Россию на Запад, и никакой обетованной землей Запад для неё не был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала

в какое-то «никуда», «в глубь ночи», в русское рассеяние, внезапно наполнившееся для неё смыслом, но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск видела, полностью его признавала и отдавала себе отчет, что в Париже ей есть чему поучиться. Запад сиял перед ней во всём своем прочном, многовековом ореоле, а случаи вроде многим из нас памятной комически-высокомерной, расейски-заносчивой статьи Шмелева о Прусте были исключением. Но если бы нас спросили: то ли это, чего вы ищете? – ответ был бы: нет, не то. Дома на Западе мы не были.

XLI

Чего же мы хотели? Думаю – по крайней мере надеюсь, – что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только при предвзятом желании изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало обнаружить наготу короля. Мы знали, чего не хотим, но чего мы хотим – не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декаденством или модернизмом. К 1917 году он как будто уже выдохся, однако не совсем и вскоре ожил, правда, в уже ослабленном, почти что призрачном виде.

Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного – это бесспорно. Но было и что-то незабываемое, редчайшее, и, как никто другой, чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой, – трагический потому, что безнадежно и беспомощно хотелось ему в мечте обнаружить правду.

С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не конченные. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая – ошибочно или нет, как знать? – обман, иллюзию, «последнюю лесть горше первой». Блока измучила потребность этического оправдания эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые претендовали на учительство, место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей и столпов русского Ренессанса. Блок – друг, верный спутник и потому-то и учитель: чувствуется, что на полдороге он не заскучает и не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое, к сожалению, надо сделать хотя бы ради беспристрастия: по-видимому, Блок, при всём своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умён в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности рассудка, в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, – что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «Сегодня я – гений») или некоторые замечания в письмах. Блок оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошовой, лжемистической одури, которую культивировало его окружение. Но в главном, в основном он остался на высоте, никем в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вернее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову или даже к Соловьеву, – хотя помню, как Алданов, толстовец, так сказать, дословный, сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок – нищета, предпочтенная богатству, неизвестно

каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежности к «элите», и, в конце концов, именно в силу своей безупречной душевной честности он залог того, что не всё в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумками. Что-то действительно мелькнуло.

У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями, доходившими из России. «Тень несозданных созданий…» – готовы были мы повторить как пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, и тут же мы останавливались, смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. В глубине души по складу своему мы, – придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных, неведомых друзей, разбросанных волею судьбы по всему свету, – в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорее «достоевского», чем толстовского, воспринимая Толстого преимущественно как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство эфирные струйки, о которых я упомянул, конечно, проскользнули они в нашу литературу при содействии Достоевского или еще до него, но еле-еле уловимо с Лермонтовым. Пушкин и Толстой – наши вершины, но беседа у нас легче налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли, и в общении с ними мы были свободнее. С Достоевским в особенности, по меньшей его, сравнительно с Лермонтовым, загадочности. В вольных, произвольных, нередко плохо кончающихся умственных странствиях Достоевский даже казался вожатым с Бедекером в руках. Только полюбопытствовать насчет маршрута, заглянуть в книжечку он нам не давал, да и знал ли сам, что в ней, на последних её страницах, содержится?

XLII

Геббельс говорил, что при слове «культура» первая его инстинктивная реакция – схватиться за револьвер. Револьвера у меня нет. Но когда я слышу и читаю размышления о «парижской ноте» русской поэзии, чувства у меня возникают отдаленно-геббельсовские.

Чем ближе был человек к тому, что повелось «парижской нотой» называть, тем настойчивее ему хотелось бы верить в ее осуществление, тем больше у него сомнений при воспоминании о ней. Что было? Был некий личный литературный аскетизм, а вокруг него или иногда в ответ ему некое коллективное лирическое уныние, едва ли заслуживающее название школы. Для образования школы подлинной вовсе не обязателен был бы признак географический, в данном случае – парижский. Состав пишущих был в Париже случаен, отбор единомыслящих, единочувствующих ограничен, и поэтическое содружество поневоле осталось искусственным. «Нота» могла бы сложиться иначе, и к этому я снова, не в первый уже раз, возвращаюсь: могли бы, должны были бы найтись друзья, раскиданные по разным странам, одни молодые, другие, может быть, изведавшие все, что суждено было узнать тем, кого революция застигла взрослыми, духовные родственники, об одинаковом догадывавшиеся, одинаковое улавливавшие, готовые наладить перекличку ещё до стихов, ещё до того, как влюбились они в Анненского и отвергли обольщение бальмонтовщины во всех её видах.

В Париже было три-четыре поэта, которым жизнь помешала, однако, одушевить «ноту» и в согласном порыве довести ее до убедительной высоты и силы. Остальные, мнимые, её адепты – не в счет, по крайней мере в качестве адептов именно «нотных», да ведь и сообщено им было только то, чего следует избегать: то, что надлежит развить, осталось тайной. Утверждают,

что авторство выражения «парижская нота» принадлежит Поплавскому, не имевшему к ней, кстати сказать, почти никакого отношения, творчески слишком неусидчивому и в даровитости своей слишком расточительному, чтобы какую-либо дисциплину принять.

В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменимом, неустранимом: нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим «все или ничего» и с отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным. На Западе мы не были «дома» именно потому, что здесь это «или – или» ни сочувствия, ни отклика не встречает. Французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкновенно смелые, меткие, красочные образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ, по существу, не окончателен, не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны.

Основное было именно в ощущении: то, что может поэзией не быть, не должно ею казаться, недостойно ее имени. Поэзия – порыв, полет, говорили и говорят нам, поэзия – это крылатое вдохновение, забвение обыденщины, веселое преображение, радость, торжество, свобода. Допустим. Но если поэзия – порыв, полет и всё прочее в том аспекте, в каком это неизменно вызывает «переходящие в овацию» аплодисменты любителей всего изящного и красивого, то разрешите вернуть билет на вход в поэтические сады. Не интересно. «Нота», может быть, и скучна, но это ещё скучнее.

В поэзии должно, как в острие, сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком

сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой: если вдуматься, это то же самое. Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо, и оттого мы умолкали или же писали стихи, над которыми сами готовы были усмехнуться: писали по привычке, от нечего делать, как от нечего делать ходят в гости или обсуждают текущие новости.

Зинаида Гиппиус однажды сказала мне: «В сущности, вы хотите, чтобы в стихах не было слов». Да, но не в фетовском значении «сказаться без слов», то есть унестись на поэтических крылышках в поднебесную высь, совсем не в этом смысле; нет, найти слова, которые как будто никогда не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими. Их у нас не было, и оставалось только свернуть с дороги, которая от волшебной удачи отдаляла и представление о ней искажала. Другая формула принадлежит Поплавскому. После одного из долгих ночных монпарнасских разговоров он, помолчав, сказал, будто подводя итог своим возражениям:

– Знаете, что это такое? Это – поэзия от Пилата.

Остроумно в высшей степени: умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо. В устах Поплавского это был упрек. Но ему было чуждо многое, что внушено было крушением нашего мира и образовавшейся пустотой. А «нота», конечно, была с этим связана: хотелось спросить себя, что без привычных подпорок надо мне в жизни сделать и куда без костылей могу я дойти?

Конечно, это – эмигрантская тема, одна из тех тем, которые в эмигрантской литературе должны были бы оказаться развитыми. А отчасти это и наследие русского символизма в том, что не было им досказано. Отцы, может быть, и отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают, и в ней их не собьешь.

XLIII

Оправдание черновиков – или апология записных книжек.

В статье, в книге одно закругляешь, другое искусственно связываешь с тем, что в связи не нуждается. Нельзя без этого обойтись, как нельзя, идя в гости или на собрание, не придать себе более или менее пристойного, общепринятого вида. Уважение к читателю?

Никто не спорит, к читателю действительно надо относиться с уважением. Но в результате остывшая мысль подогревается, разогревается и выдается за мысль живую. «В предыдущей главе мы указывали…», «из вышеизложенного следует…» и так далее. Часто случается, что главное, самое живое – моментальная фотография мысли – исчезает бесследно, растворившись в плавных, гладких периодах.

Да, бесспорно, за великими, основными человеческими книгами чувствуется долгая работа, огромное волевое усилие, проверка, охват темы во всем ее развитии, будто с птичьего полета. Оправдание черновиков может обернуться оправданием лени. Но иные, не «основные» книги выиграли бы, если бы остались в черновиках, как выиграла, например, посмертная книга Бунина о Чехове, которую он, Бунин, наверно, обезличил бы, если бы, готовя ее к печати, выбросил, сгладил отдельные, в сердцах сделанные замечания на полях прочитанного. Да и вообще, кто же из пишущих этого не знает: бывает, исправляешь, час-другой подчищаешь, а потом с удивлением убеждаешься, что восстановил именно тот текст, который написан был сразу.

Критики требуют от авторов стройной последовательности изложения, солидной согласованности суждений, сплошь и рядом не замечая под этой внешней связностью отсутствия внутреннего единства. А только оно, это внутреннее единство, и способно что-то удержать

от развала, связать, одухотворить, при любых противоречиях и скачках от одного к другому.

Оправдание черновиков, апология записных книжек… Есть, однако, и опасность: болтовня, розановщина, излишек внимания к самому себе, развязность, кокетство. Но ведь в каждой написанной строке таится опасность, от этого не уйдешь, – «боязнь фразы есть тоже фраза», по Тургеневу, – и в черновиках она всего только очевиднее. Риск «размахнуться Хлестаковым» в них сильнее, но тем сильнее и стремление остаться собой, каково бы твое «я» ни было. От себя тоже не уйдешь.

XLIV

Розановщина… Пренебрежительное это словечко вырвалось у меня сейчас почти безотчетно. Нет, Розанов все-таки замечательный писатель, и помню, было время, когда был он для меня писателем чуть ли не единственным, «властителем дум».

Шестов справедливо заметил, что из всех наших «новых христиан» один только Розанов умеет произносить имя Божие в верном тоне. У Бердяева и даже у Булгакова, священника, умения этого не было, и с марксистско-журнального лексикона они беспрепятственно перешли к темам религиозным, не уловив насущной потребности писать и выражаться иначе. Розанов кощунствовал, называл Христа «царем ужаса», дошел в удивительных своих примечаниях к рассказу Сикорского о сектантах-самосожженцах в терновских плавнях и до иного, худшего, но неизменно чувствовалось: нет, оскорбления Христа тут нет, это бунт человека, который и сам смутно тоскует, как бы «пострадать», он болен христианством, ранен, отравлен им, и он мечется, хорошо зная в глубине души, что никакого избавления не хочет.

«И да сияют эти образа вечно». Это ведь Розанов написал, и никогда Бердяеву не написать бы предисловия к «Людям лунного света», никогда он со своим сильным, ясным аналитическим умом не поднялся бы к тому, до чего неизвестно как договаривался в минуты просветления болтун и путаник Розанов.

Конечно, болтуном он был. Нельзя сравнивать его с Паскалем, как делают это некоторые неумеренные его поклонники. Не говоря уж о мощи разума, у Паскаля был дар молчания, остановки, оставшийся Розанову неведомым. Паскаль обрывает фразу, наполняя образовавшуюся пустоту таинственным смыслом. Розанов говорит, говорит, пришепетывает, подмигивает, ухмыляется, намекает, сам себе возражает – и случается, иногда недоумеваешь: только-то и всего, Василий Васильевич? Нельзя ли было бы покороче? Ничего и отдаленно схожего не может случиться над книгой Паскаля.

А все-таки писатель замечательный, природно устремленный к «самому важному». Среди новых русских литераторов он один мог себе позволить решительно все, не «размахиваясь Хлестаковым», потому, вероятно, что был до самозабвения искренен и меньше всего думал о впечатлении, которое слова его произведут.

(Давнее мое сомнение, упрек самому себе: отчего никогда не написал, – а теперь уже не напишешь, поздно! – о том, что ночью, когда не спится, обрывками проносится в мозгу, о том, что с первых лет юности, может быть именно под воздействием Розанова, казалось «самым важным»: о Евангелии и о том, что в нем загадочно, об отсутствии «дна» в этой книге, о неистребимости надежды, которая мерцает и светит вдалеке, куда бы человек ни забрел, как бы ни запутался, о преодолении отчаяния, о том, рассчитана ли была евангельская проповедь на тысячелетия или, наоборот, на представлявшийся неминуемо близким конец

мира, – да, отчего не попробовал написать об этом, «средь всякой пошлости и прозы», постыло-привычной, обманчиво-поэтической, попытавшись перенять у Розанова его непогрешимое чутье ко лжи и правде слова, продолжив его темы, заразившись его страстностью в этих темах, но оставшись все-таки самим собой. А потом спохватываешься – и хорошо, что не написал! Подумаешь, о «самом важном»! Что получилось бы? Тремоло в голосе, самолюбование, чернила, чернила, чернила, будто бы ставшие кровью. Пиши, голубчик, лучше о внутренних отличиях пятистопного ямба от четырехстопного, тут, но крайней мере, и сорваться трудно.)

XLV

У нас, в нашей культуре, да и вообще на Западе, – поскольку мы все-таки – Запад и от него, надеюсь, не отречемся, – у нас есть только две большие темы: христианская и эллинская. Все сколько-нибудь значительное связано с их развитием, а в особенности с их скрещиванием, с их борьбой.

У французов до сих пор все идет по этим двум скрещивающимся и расходящимся линиям – линии Монтеня и линии Паскаля, – и духовная родословная каждого сколько-нибудь значительного французского писателя этими именами определяется. Да и могло ли быть иначе? Больше трехсот лет тому назад французам было в упор, без обиняков, разъяснено, в чем тут дело: разъяснено не с уклончивой объективностью свидетеля, а с нетерпимостью участника, не допускающего колебаний, требующего «да или нет», «со мной или против меня». Несколько строк мученика Паскаля в упрек жизнелюбцу Монтеню, тот будто бы только тем и озабочен, чтобы «умереть безмятежно и малодушно»! – несколько этих строк так невероятно проницательны,

так гениальны в способности схватить самую сущность разлада, что нечего к ним и добавить.

У Сент-Бева, в одной из его понедельничных «Бесед», есть замечательная и фантастическая страница: похороны Монтеня.

За гробом учителя, «основоположника» идет вся французская литература. Мадам де Севинье рассказывает придворные сплетни и слухи. Буало, окруженный учениками, толкует о правилах построения трагедии. Вольтер, насмешливо косясь на Руссо, «обезьяну, вообразившую себя Сократом», тут же сочиняет на него эпиграммы, Виктор Гюго вполголоса декламирует новую оду – словом, все как обычно, каждый занят своим, до покойника никому нет дела.

Последним, вдалеке от других, идет Паскаль – и «только он плачет».

Это – несколько произвольный комментарий к монтене-паскалевскому расхождению. Но комментарий, полный смысла.

XLVI

В России дело осложнено тем, что в нашем Монтене, Толстом, неожиданно проснулся Паскаль, впрочем, дремавший в нем смолоду, – и возненавидел, сжег все то, к чему предназначен он был природой.

Но и для нас очерчен тот же круг идей, с естественными индивидуальными особенностями двух писателей, которыми они отчетливее всего представлены: Толстым и Достоевским, конечно. Оттого мы постоянно о Толстом и Достоевском и говорим, и будем говорить еще долго, сколько бы ни удручало это и ни раздражало любителей новинок и так называемых «новых течений». Имена можно было бы и не называть, в разговоре мало что изменилось бы, разве что он потерял бы ясность.

Достоевский тоже плакал бы на похоронах Толстого, и, вероятно, тоже плакал бы «один», – в особенности если представить себе Достоевского истинного, такого, каким он отражен в великих своих романах, то есть освободившегося от суетливой и завистливой мелочности, одолевавшей его в повседневной, вне творческой жизни.

Кстати: теперешняя Россия, советская, так страшно опровинциалилась, так обездарилась. несмотря на обилие несомненных и больших талантов, именно потому, что, приняв и усвоив тему Монтеня, пусть и с ленинскими поправками, лишь «постольку-поскольку», она игнорирует тему Паскаля. Нет скрещения, нет трения, дающего огонь, и оттого все стало бесцветно и пресно. Кажется, в последние годы Россия начинает это чувствовать, и дай ей Бог поскорее очнуться!

XLVII

По Альберу Камю, мечта каждого подлинного писателя, «усвоив все то, что есть в «Бесах», написать когда-нибудь «Войну и мир». Или иначе: «ценой смирения и мастерства найти путь к общечеловеческому искусству».

Замечательно, что Камю упомянул о смирении, о скромности, – «humilite» во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти то же самое: «Не достигает скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, будто стесняясь признаться, что не любит его, вроде того, как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и неприятия мира были, по-видимому, ему не по душе: о чем тут толковать, все и так ясно, пойдем лучше чай пить, как говорит старый профессор в «Скучной истории».

XLVIII

Надо бы установить, был ли когда-нибудь хоть один случай несомненного, бесспорного предвидения будущего. Говорят, св. Серафим Саровский видел убийство Александра II, рассказывают и о многом другом в том же роде… Но насколько все это достоверно?

Если можно видеть будущее, хотя бы только один-единственный раз увидеть его, значит, будущее где-то есть: **есть**. Нельзя видеть того, чего нет. Если кто-нибудь видел будущее, значит, оно уже существует (но еще не дошло до нас или мы не дошли до него). Машина мироздания, очевидно, дала перебой, осечку, и в образовавшуюся на миллиардную долю секунды трещинку мелькнуло что-то, к данному времени не относящееся. Как на кинематографической ленте: сцена из другого эпизода.

А если будущее уже существует, то от нашей свободы воли, как в обоснование ее ни изворачивайся, не остается ровно ничего. Если в припадке философического отчаяния я даже покончил бы с собой, то и это в какой-то программе уже занесено и предопределено: ни вызова, ни своеволия. Кириллов попал впросак.

По-моему, это неопровержимо, то есть неопровержима связь существования и предвидения.

Но тут же холодный ветерок: а почему собственно говоря, ты столь «неопровержимо» уверен, что мир построен по законам, совпадающим с законами твоего разума? Ведь если даже в плане материальном далеко не все в мире согласовано с нашим разумом – в чем теперь уже не остаюсь сомнений, – то почему должно существовать согласие там, где и материи-то нет?

(Алданов справедливо сетовал на Зеньковского за умолчание о Лобачевском. В своей обстоятельной и добросовестной «Истории русской философии», где не обойден вниманием ни один приват-доцент,

Зеньковский о Лобачевском просто-напросто забыл. А ведь догадка о том, что Эвклид вовсе не всегда и не везде общеобязателен, ошеломляюще огромна в своих выводах. Достоевский это уловил и в разговоре Ивана с Алешей об этом упомянул. Куда же мне, в самом деле, понять пути мироздания и «финальную гармонию», если даже того не в состоянии я понять, что параллельные линии могут где-то сойтись!)

XLIX

Не «стиль – это человек», а ритм – это человек, интонация фразы – это человек. Стиль можно подделать, стиль можно усовершенствовать, можно ему научиться, а в интонации фразы или стиха пишущий не отдает себе отчета и остается самим собой. Как в зеркале: обмана нет.

В нашей литературе было три гения интонации: Лермонтов, Толстой и Блок.

К Блоку следовало бы поставить эпиграфом последнюю строчку пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Удивительно у него чувство солидарности со всеми людьми перед лицом слепых «судеб», круговая порука, которой он себя связывает. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы…» – незабываемо! Повторяя такие строчки говоришь себе: «Нет, Блок всё-таки – поэт единственный», и это в данный момент верно, как мгновенный отклик читателя поэту. Но, читая Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова или Анненского, говоришь себе тоже самое.

Лермонтов был близоруко недооценен многими «мэтрами» нашего серебряного века, которому, впрочем, лучше было бы называться веком посеребренным. Им, как и когда-то Жуковскому, не по душа была его риторичность, порой в самом деле напоминающая юнкера Грушницкого. Но за «младенческой печалью»

Лермонтова, за его «как будто кованым стихом» – по ироническим формулам Брюсова – они не расслышали райского тембра его голоса. Не почувствовали, что риторику это искупает. Помню, Гумилёв, сидя у высоких полок с книгами, говорил:

– Если мне нужен Баратынский, я не поленюсь, возьму лестницу, полезу хоть под самый потолок… А для Лермонтова нет. Если он под рукой, возьму, но тянуться не стану.

Насчет Баратынского споров нет, он заслуживает того, чтобы взять хоть десять лестниц: учитель, мастер, образец достоинства, правдивости, сдержанности. Но Лермонтов… как бы это объяснить? Лермонтов – это совсем другое. «По небу полуночи…» – волшебство, захватывает дыхание.

Проверяю себя: неужели действительно эти полстрочки, взятые отдельно, так волшебны? Или сказывается самовнушение, гипноз? Допускаю, что, если бы эти полстрочки только полстрочками и остались, головокружения они не вызвали бы. Но они гениальны как вступление к тому, что открывается дальше: всё, что дальше сказано, в этих трех словах обещано, безошибочно предвещено. «По небу полуночи» – если бывает в поэзии магия, вот ее несравненный пример.

Иногда у Лермонтова слышна та же круговая порука, та же «круго-поручная» интонация, которая позднее была подхвачена и развита его учеником Блоком. «Я говорю тебе, я слез хочу, певец…», «Подожди немного…» Или в начале «Валерика» чудесное в своей прозаической непринужденности, «во-первых», сразу дающее стиху особую его мелодию:

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил…

А риторика действительно была, только не Брюсову бы о ней говорить.

L

Случайная цитата из Толстого, притом не из романа или повести, которые автором отделывались и исправлялись, а из письма к другу, Бирюкову, года за два до смерти. Толстой вспомнил о своем выступлении на суде, в начале шестидесятых годов, по делу унтер-офицера Шибунина, ударившего своего ротного командира по щеке и затем расстрелянного, – вспомнил и писал:

«Ужасно возмутительно мне было перечесть эту мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов Божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как ссылаться на такие-то, кем-то написанные, глупые слова, называемые законами. Ведь, если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себя, что вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, – что вследствие этого они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать…»

Никак нельзя сказать, что это «хорошо написано». Покойный Карсавин, даровитый человек и по-своему человек проницательный, настойчиво утверждавший, что Толстой писал плохо, неуклюже, косноязычно, надо думать, с удовольствием сослался бы на эти строки. Шутник Ремизов, решившийся высказать мнение, что Толстой был «словесно бездарен», тоже им, вероятно, обрадовался бы как подтверждению своей оценки.

Да, нельзя сказать, что это «хорошо написано». Но можно и надо сказать, что, за редчайшими исключени-

ями, самые совершенные образцы русской прозы тускнеют и чуть ли не кажутся словесной трухой рядом с этим «косноязычием», изнутри оживленным библейской огненной несговорчивостью, и что с такой силой, с таким верным соответствием между «что» и «как» никто никогда в России не писал.

На цитату эту я натолкнулся, перелистывая для справки книгу Гольденвейзера «В защиту права». Перечел и подумал, что Горький-то, пожалуй, был прав: если человек может так писать, то действительно «человек – это звучит гордо».

LI

У молодых есть все преимущества перед старыми. Все, кроме одного: старые знают, что каждое поколение приходит со своей правотой и своими иллюзиями. Молодые видят только свою правоту и склонны счесть её правотой окончательной.

Умный Базаров был бы ещё умнее, если бы догадался, каким тупицей прослывёт он у первых эстетов и декадентов.

LII

Корни все усиливающегося в наше время внимания к Тейяр де Шардену, по-видимому, связаны со смутной, безотчетной тревогой: не изменяет ли человек самому себе? Расширение, распыление культуры – как бы оно ни было нравственно оправдано – не грозит ли торжеством тупости и «всемства», пугавшим Конст. Леонтьева? Если миллиарды лет тому назад возникло одухотворение материи, если много, много позже началось – по Тейяру – «очеловечение» земли с долгими веками той же работы впереди, то не приобретает ли «понятие культуры» оттенка метафизического? Не в том ли

единственно важное человеческое дело, чтобы довести одухотворение и очеловечение до конца?

Далеко не все эпохи в себе сомневались. Восемнадцатый век, а за ним и девятнадцатый шли вперед в уверенности, что с пути свернуть уже не придется. Но история подставила заносчивому веку ножку, и он споткнулся и растерялся. К сожалению? Да, все-таки к сожалению. Путь был в общих чертах верен, только походка была не совсем та, какая нужна бы. Были шоры, была нетерпимость… Но теперь, после всех наших крушений и передряг, на развалинах прежнего мира человек оглядывается, тревожится: не оказаться бы предателем? Тейяр именно о возможности предательства напомнил, хотя сам ее не допускал.

LIII

Сартр и Альбер Камю.

Эти два имени постоянно называются рядом – вероятно, потому, что когда-то их связывали общие темы, были они друзьями, затем резко и шумно разошлись, и это их расхождение вызвало долгие споры. Это одна из тех литературных «пар», о которых сам собой возникает вопрос: кто же из них больше, выше? Вопрос бессмыслен, все с этим согласны, но отвыкнуть от него трудно: Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Корнель и Расин… примеры классические, а есть и множество других, помельче.

Вспомнил я Камю, однако, не для сравнения с Сартром, а потому, что им, его личностью, его писаниями отчетливо оттеняется то, что есть в Сартре особого. Сартр и Камю связаны, но и резко разделены: были разделены еще до ссоры. Два мира, друг другу противостоящих, два «мироощущения», чуть ли не две эпохи, причем эпоха, которую предвещает Сартр, еще не со-

всем ясна, и он сам как будто еще отвергает предназначенное ему в развитии культуры место.

Не думаю, чтобы по размерам своего дарования Камю был подлинно великим писателем. Но это – писатель, у которого ум, совесть и сердце еще находятся в естественном и нерасторжимом согласии, можно бы даже сказать – в сотрудничестве. Это – человек в том смысле, в каком слово это действительно «звучит гордо» и в каком можно его отнести к великим писателям прошлого. У него в рабочем кабинете висело только два портрета: Толстой и Достоевский; и, кстати, уместно вспомнить, что, когда один из его советских посетителей стал жаловаться на недостаток внимания к России со стороны западной интеллигенции, Камю вместо ответа обернулся и молча указал ему на эти портреты.

Сартр необыкновенно умен. Ум, «острый галльский смысл» обнаруживаются не только в его теоретических рассуждениях, но и в каждой написанной им фразе, в умении найти незаменимое, хотя порой и неожиданное, слово в безошибочной расстановке слов, в точности, в исчерпывающей меткости малейшего эпитета. При чтении требуется усилие, чтобы уловить и оценить не стилистическое мастерство в обычном значении этого понятия, вовсе нет, а именно ум, сквозящий в этой суховатой, обманчивой стилистической простоте. Какого бы современного французского писателя после Сартра ни взять, чуть ли не все кажется вялой словесной канителью.

Но ум находится у Сартра в положении самодержавного, неограниченного монарха. Он всем управляет и раздела власти не признает. При читательской рассеянности может – и даже должно – возникнуть впечатление противоположное: в самом деле, нет сейчас писателя, который настойчивее твердил бы о морали

и моральных вопросах. Сартр во всеуслышание заявляет, что стыдно заниматься сочинением романов и стихов, когда миллионы людей голодают и бедствуют. Сартр ратует за социальную и расовую справедливость, за равенство и прекращение войн, за уничтожение последних остатков колониализма, и не случайно Мориак назвал его «Толстым в миниатюре». Сравнение, однако, явно насмешливо. Не говоря уж о Толстом, трудно найти пример подобного отсутствия эмоциональной заразительности, подобной выхолощенности прекрасных призывов и порывов, подобного торжества «литературы» при ожесточенном отрицании ее. Все от ума, все под диктовку ума и оттого нее как будто впустую! Защита угнетенных внушена исключительно ненавистью к угнетателям: ни одного слова, в котором чувствовалась бы жалость к жертвам и боль за них. Симона де Бовуар, друг и подголосок Сартра, писала в «Силе вещей», что «Камю отстаивал буржуазные ценности, в то время как Сартр верит в правду социализма». Вздор, который стыдно читать, если только не подводить под понятие буржуазности все то, что до сих пор называлось человечностью.

Надо вес же без колебаний и с некоторой горечью признать, что Сартр гораздо значительнее, чем Камю, как явление, как голос из будущего. Сартр – это именно явление. Зловещие утопии, нарисованные Оруэллом, Хаксли или у нас Замятиным в «Мы», всегда представлялись мне домыслами из разряда «он пугает, а мне не страшно». Есть в этих книгах что-то торопливое, плохо проверенное, да и чисто литературный их уровень не Бог весть как высок, оттого и мало было к ним доверия. Но как знать? Может быть, что-то в них угадано? От книг Сартра, написанных скорее в опровержение оруэлло-замятинских фантасмагорий, чем в их поддержку, веет тем же ветерком ледяной справедливости, ледяного

и неумолимого равенства. Ни одной оплошности в нравственно-социальных расчетах, ни одной уступки человеческим слабостям и мечтаниям. И человек задыхается. Сартр как будто – первый пришелец из неведомого «оттуда», первый несомненно, большой писатель с каким-то кибернетическим привкусом в творчестве, первый, давший возможность почувствовать то, что, может быть, действительно ждет людей в далеком или близком будущем. Он не пугает, но читателю страшновато.

LIV

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги, вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают ни малейшего сомнения насчет того, что былые открытия превратились в мелкообщедоступные, механизированные приемы. Почти все эти книги внутренне ничтожны. Это, в сущности, «вагонное чтение», с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.

Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все «совсем как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее – если в нее вглядеться – самой изысканной экзотики. Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным – и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, чтобы ощутить, до чего

непонятно наше существование, даже в примелькавшейся своей оболочке. Что это все такое, вокруг нас? Где мы? Откуда мы? Есть какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости ближайшей, зримой, реальной во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

LV

Алданов однажды сказал в присутствии Бунина:

– Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»…

Бунин покачал головой, поворчал:

– Что-то, Марк Александрович, стали вы чересчур строги! Были и после Толстого неплохие писатели…

Но мне показалось, что ворчит он скорее так, для виду, чтобы не сразу сдаться, а на деле с Алдановым согласен.

Русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». Да, но было все-таки смутное, горестное, растерянное послесловие к ней – Блок. Сказать с уверенностью, что Блок был талантливее всех других писателей нашего века, нельзя. Но дело не столько в таланте, сколько в том, что поэзия Блока изнутри оживлена дыханием судьбы, присутствием судьбы. «Он весь – дитя добра и света…»

У Бунина, у Горького нет судьбы. Одно очень хорошо, другое, пожалуй, слабее, но за словами ничего не происходит. Нечему гибнуть, нечему торжествовать.

LVI

Есть величина таланта и есть качество таланта – понятия, далеко не совпадающие, по существу даже совсем разнородные. Мне никогда прежде не приходило это в голову, а когда внезапно пришло – не помню,

над какой книгой, – многое в литературном прошлом и настоящем сделалось яснее. Привычная, традиционная табель о рангах оказалась нарушена, но лишь потому, что обнаружилась условность или ошибочность мерила, на котором она держалась.

Есть писатели бесспорно очень даровитые и все-таки ничтожные. Читаешь и думаешь: зачем я это читаю? Блестяще? Да, блестяще. Остроумно? Да, в высшей степени остроумно. Но и при блеске, и при остроумии, и при стилистической виртуозности это все-таки плохой писатель. Плохой, то есть как бы не питательный. Бумага, чернила. Нет воды и хлеба, без которых нельзя жить.

Кстати, о вопросе «зачем?».

Если писатель, как бы вдохновенен он ни казался, ни разу не остановился над своей рукописью и, неожиданно смущенный мыслями о суетности своего дела и об искажении первоначального видения, ни разу не спросил себя: «зачем я пишу?», «какой смысл в том, что я пишу?», если он ни разу не был этими вопросами взволнован и озадачен, то едва ли это писатель подлинный, пришедший с чем-то своим, до него не сказанным. Пожалуй, плох именно тот писатель, который «творит» с неизменным удовлетворением, как, бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с уже больным, отступавшим перед всяческим «зачем?» Тургеневым сказал Боборыкин («А я, знаете, наоборот, пишу много и хорошо!» Слышал удивительный этот рассказ от Мережковского).

LVII

Некоторая переменчивость оценок, мнений и суждений не есть результат общей их неустойчивости и еще менее «каприза», как нередко утверждают: для одних она непонятна, для других неизбежна.

И те, для кого она неизбежна, в ответ на упреки только разводят руками: как же может быть иначе? Разве иные великие, даже бессмертные произведения не написаны в форме диалогов? И разве не оттого авторы их выбрали именно эту форму, что видели возражения, которые сами себе могли бы сделать, не считая нужным их скрывать? В «Федоне», например, два центральных возражения Сократу глубже и значительнее всех его дальнейших цифровых выкладок, которые если что-нибудь и доказывают, то не бессмертие души, а лишь то, что разум в еще младенческом вдохновении своем, еще сам себе изумляясь, возвел логику в верховное, непререкаемое божество.

Но оставим эти высоты, спустимся к нашим родным равнинам. Разве Герцен не двоится, не колеблется, не противоречит порой сам себе, в то время как Чернышевский неизменно долбит одно и то же, не удостаивая ни во что чуждое себе вдуматься? И разве не оттого это так, что Герцен бесконечно проницательнее, даровитее Чернышевского и видит в каждом явлении многое, чего тот и не подозревает? Я вовсе не хочу сказать, что все колеблющиеся, все, кому случается высказать об одном и том же явлении противоречивые суждения, – в частности в литературной критике, – непременно умны и талантливы. Конечно, нет. Колеблющихся тупиц на свете много. Но заранее требовать на протяжении всей жизни строгого единства оценок тоже нельзя. Хорошо сказал Толстой: «Я не воробей, чтобы всегда чирикать то же самое».

Помимо того, в литературе, в искусстве, во всем, что объединено общим словом «культура», речь в конце концов идет как бы о возведении некоего общего храма. Возникает чувство ответственности: не ошибиться бы в расчетах. Действительно ли нужно то-то, не окажется ли никчемным и даже вредным другое? Годы, го-

ды поисков, отступлений, самопроверок, на весь тот срок, который каждому из нас отпущен. А тут выскакивает какой-нибудь шалун и бойко всех расталкивает: позвольте, я здесь в два счета приделаю балкончик с резьбой, что это вы, в самом деле, то работаете без устали, то разбиваете только что сделанное и часами стоите в оцепенении!

LVIII

Не помню, решился ли кто-нибудь, при всесветной и, что же тут толковать, вполне оправданной славе Достоевского, при сложившемся на Западе, особенно на Западе, убеждении, что уж если кто-нибудь глубок и прозорлив, то именно он, при его ореоле, при необычайной его власти над новыми, по-новому встревоженными умами, – не помню, сказал ли кто-нибудь, что «Легенда о Великом Инквизиторе – произведение опрометчивое и легковесное. Вспоминаю только восторги. «Величайшее создание Достоевского», – утверждает Мочульский, «залитые бессмертным светом страницы», по Розанову, и так далее.

Не касаюсь оценок чисто литературных, эстетических, хотя даже и с этой точки зрения никак не могу согласиться, что декламационно-риторическая, театрально-эффектная «Легенда» представляет собой у Достоевского некую вершину. Нет, вершины у него другие. Но существенно не это.

Такие слова, как «опрометчивость», «легковесность», будучи отнесены к писателю, который признан гордостью России, могут вызвать возмущение, и даже наверно его вызовут. Возмущение, однако, было бы основательно лишь в том случае, если бы против Достоевского, как мишень, как предмет его сарказмов, не стояло нечто, что все-таки гораздо больше и его самого, и всех его книг, вместе взятых: христианская Церковь. Удивительно,

что наши благочестивые авторы не обратили на это достаточно внимания! Правда, оклеветана в «Легенде» церковь католическая, а не православная. Но дело это меняет мало, скорей даже ухудшает позицию Достоевского, ибо тут дает себя знать славянофильство, типично славянофильская смесь притворного смирения с ничуть не притворным патриотическим самоупоением и заносчивостью. В этом повинен даже мудрец Тютчев, обозвавший римского первосвященника «ватиканским далай-ламой»[4].

Будто бы в православии, в православном быту, евангельская проповедь сохранилась во всей своей первоначальной сияющей чистоте, будто бы нам, русским, и упрекнуть себя не в чем, будто не все мы одинаково грешны одним и тем же! Не надо бы ведь забывать, что обличитель Рима, ревностный церковник Достоевский называл себя единомышленником Победоносцева и, по собственным своим словам, восторженно следил за его «драгоценной деятельностью».

Основное утверждение «Легенды» верно и просто, как дважды два четыре: Церковь от Евангелия отступила и в течение веков не нашла в себе силы устоять перед соблазном житейских и государственных компромиссов. Этого отрицать нельзя, с этим всякий беспристрастный человек согласиться должен, тяжело ему это или нет. Но Достоевский в своем воинствующем антикатолицизме делает чудовищный скачок вперед. «Мы не с Тобой, мы с Ним», говорит у него Христу старик кардинал, «мы с Ним», то есть мы с Дьяволом, и здесь сразу напрашива-

---

[4] Тютчеву же принадлежит удивительное объяснение гибели французской армии в 1812 голу. Наполеон, «воитель дивный», не предвидел, по его мнению, «лишь одного»: того, что противником его будет не Барклай де Толли, не Кутузов, а сам Христос. А стихотворение это – «Проезжая через Ковно» – само по себе необыкновенно хорошо: один на тютчевских шедевров.

ется столько возражений, исторических, идейных, моральных, что не знаешь, с чего и начать. Памятник опрометчивости, хочется мне повторить, – непревзойденный образец полемического ослепления и клеветы! «Мы не с Тобой, мы с Ним». Достаточно взглянуть на взвивающиеся к небу стрельчатые готические соборы, чтобы уловить в них ответ сошедшему с ума кардиналу.

Есть маленькая, исключительно содержательная книжка, вышедшая много лет после появления «Легенды», но касающаяся затронутых в ней тем, – «Евангелие и Церковь» Альфреда Луази. По причуде судьбы именно за нее Луази, бывший священник, ученейший церковный историк, основатель целой школы, оказался отлучен от церкви по обвинению в «модернизме». Между тем едва ли было когда-нибудь написано что-нибудь более страстное и проницательное в защиту и оправдание церкви как исторической необходимости, как установления, без которого христианство оказалось бы исторически неосуществимо. Луази спорит не с Достоевским – он его и не называет, – а с Адольфом Гарнаком, автором знаменитой «Сущности христианства», протестантом и, значит, противником Рима. Отчасти спорит он и с Ренаном, по-видимому, допускавшим, как и Гарнак, что евангельское учение рассчитано было на тысячелетия, что оно могло сквозь эти тысячелетия пройти и в них полностью уцелеть, и в связи с этим решившимся сказать, что «история Церкви есть история измены» (в «Апостолах»), история умышленно сделанного отступнического выбора. Измена? – будто бы спрашивает Луази. Измена? Но ведь, не будь этой измены, не осталось бы ровно ничего, все исчезло бы, все оказалось бы безвозвратно забыто, – приблизительно так же, скажу от себя, как происходит это в рассказе Анатоля Франса о состарившемся Понтии Пилате, только и способном промямлить в ответ на расспросы друзей: «Не знаю… право, ничего не помню».

Читая послания Апостолов – не столько Павла, сколько другие, – убеждаешься ведь чуть ли не на каждой странице, что первые последователи и ученики Христа ждали конца мира и чудесного свершения того, что было им обещано, со дня на день, с часу на час. А свершение откладывалось, оттягивалось, непостижимо опаздывало, и пришлось жить, устраиваться, ограничиваться, свыкаться, мечтать, надеяться, каяться, молиться – и по мере сил хранить остатки света. «Мы не с Тобой, мы с Ним». Нет, остается только верить, что, проживи Достоевский дольше, он сам пришел бы в ужас от этого безумного навета и вообще посоветовал бы своим неумеренным поклонникам поменьше «Легендой» восхищаться.

LIX

Ницше сказал о хоре пилигримов в «Тангейзере», что это – «самая католическая музыка в мире».

Вот бы Достоевскому в нее вслушаться, расслышать в ней то, что уловил Ницше: упорство, волю, передаваемое из поколения в поколение согласие на подвиг, готовность нести Крест, отсутствие отречения и предательства…

Впрочем, Достоевский отозвался и о Вагнере по-своему: «прескучнейшая немецкая каналья».

LX

Еще о Достоевском и его наследии.

Конечно, мир менее плосок, чем представляли себе это самоуверенные «передовые» люди в прошлом столетии, последыши Белинского. Конечно, мир загадочен, и сколько бы ни были ошеломительны новейшие научные открытия, «царство науки знает предел». Будь это иначе, загадочность предстала бы еще бесконечно большей: как, значит, есть только то, что мы видим,

то, что мы понимаем, только то, что на крайность можно было бы уложить в математические формулы? Ничего другого? Да ведь это было бы в миллионы раз невероятнее и необъяснимее, чем любая нарочитая непонятность! Тайны существуют, не могут не существовать. Но нам-то, нам-то, да и то мало кому, видна лишь узкая-узкая щель и почти ничего за ней. Что-то как будто брезжит, что-то светится, но, может быть, это всего только мираж. А он, Достоевский, широко распахнул воображаемые ворота, в которые и бросились вслед за ним бесчисленные ученые и полуученые комментаторы, и принялись они вкривь и вкось рассуждать о том, о чем возможны только слабые, смутные догадки.

Достоевский – великий, огромный писатель. Но многое из того, что им в критической литературе вдохновлено, многое, что о нем написано, до крайности тягостно.

LXI

У Карла Ясперса в его «Философской вере» сказано: «Человек не удовлетворен самим собой. В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, с его знаниями и его духовным миром».

Это – почти дословно то же, что говорит Толстой о князе Андрее, которому хочется плакать, когда он слушает, как поет Наташа, – несколько удивительных строк, достойных того, чтобы поставить их эпиграфом ко всей русской литературе. Эпиграфом и предостережением: не идите дальше, не выдумывайте ничего другого, потому что будут это именно только выдумки, только пустые домыслы. Больше о самих себе мы ничего не знаем и никогда не узнаем.

Ну, а как же с интуицией, которую иные русские философы даже обосновывали, как же с гениальными метафизическими построениями, по праву составившими

за две тысячи лет славу и гордость человечества? Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от человека, и авторитетно, очевидно, с полным знанием дела, растолковывавшего непонятливому посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина:

– Откуда вы всё это знаете?

Бердяев обернулся, усмехнулся и ответил как-то шуткой: вопрос, мол, глупый, ребяческий. Приблизительно то же самое произошло у меня однажды со Степуном. Допускаю, каюсь, может быть, вопрос в самом деле глупый. Действительно, не было бы некоторых величайших, вдохновеннейших философских систем, если бы невозможность проверки и ответа принята была за преграду. Потеряны были бы великие богатства.

Но каюсь и в том, что эта невозможность ответа представляется мне все же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система. Кстати, тот же Ясперс, человек религиозный, в той же своей книге полностью признает, что доказывать существование Бога можно было только до Канта, а теперь заниматься этим способны только мыслители малодобросовестные (к которым он с оговорками причисляет и Гегеля). Вот именно! И не только доказывать существование Бога, а и логически рассуждать обо всём, что нашему разуму недоступно. (Лосский упрекает ненавистный ему пантеизм в том, что тот «не логичен». Как будто логика в этих догадках может иметь решающее значение, как будто заранее известно, что всё беспредельное бытие нашей логике подчинено!) Уверенности нет, уверенности ни в чём быть не может, а «интуитивные» соображения и построения… что же, доступ к ним широко открыт всякому. Плохо, однако, то, что сколько бы их ни было,

как бы стройны и убедительны они порой не казались, все они расходятся. Единство недостижимо. Его никогда не было и не будет. Каждый мыслитель предлагает свое, личное, произвольное, ни для кого другого не обязательное и большей частью противоречащее всему приложенному прежде.

И поневоле остаешься с князем Андреем и с одним только блаженно-мучительным сознанием невозможности самим собой удовлетвориться, чувствуя, однако, что в нём-то и таится «бессмертья, может быть, залог».

LXII

Михайловского когда-то просили дать статью о свободе печати. Он ее написал, но потом признался, что писал с трудом, – труднее, чем другие свои статьи. Всю жизнь думая о свободе печати, ища все новых доводов в ее защиту, он забыл доводы основные. Пришлось вспоминать, возвращаться к истокам.

Человек, который всю жизнь думал о поэзии – в частности, о поэзии русской, во многом расходящейся с западной, находится приблизительно в том же положении. Может быть, он плохо думал, путаясь, сбиваясь, противореча сам себе, а главное – принимая свои спорные, личные пристрастия за непреложные истины. Может быть. Но если думал он о поэзии всю жизнь, ему хочется «подвести итог», спросить себя, что же такое, в конце концов, поэзия, в чем ее сущность, в чем ее смысл и, пожалуй, даже в чем ее оправдание. Да, в чем ее оправдание, – в ответ тем, кто балуется стишками, пребывая притом в непоколебимой уверенности, что всякий стихотворец – существо избранное, отмеченное Богом, и что поиски рифм и придумывание образов представляют собой занятие высшего порядка.

В чем сущность поэзии и в чем ее смысл? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические.

Если бы в чем-нибудь метафизическом быть уверенным, ответ был бы ясен. По крайнему моему разумению, заключался бы он в том, чтобы служить единственно важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое, может быть, и свершится в далеких будущих веках… Но сослагательное «бы» при раздумье мало-помалу теряет значение, перестает быть препятствием. Даже если бы все оказалось иллюзией, даже если ты со своим мнимым «одухотворением» всего только разобьешь себе голову о стену, другой ставки у нас нет. Да и риска в ставке нет, как в «пари» Паскаля: выиграть можно, проигрывать нечего. Поэты, «надо дело делать». Но как его делать? Как?

Конечно, не рассудочно-дидактически, с постоянной, назойливой памятью о цели: рассудочность все засушила бы и убила. Нет, иначе. Не думая о воздействии на читателя, о впечатлении, которое будет произведено. Отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой. Не боясь одиночества, ища в одиночестве – как бы сквозь себя – связи с миром и будущим, веря, что в одиночестве связь эта окажется прочнее и вернее, чем в рассеянном житейском общении. Будто бросая бутылку в море: кто-нибудь найдет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь продолжит. Зная, что если есть солнце, то не к чему развешивать разноцветные электрические гирляндочки… Трудно все это связно объяснить не только другим, но и самому себе. Оттого, вероятно, и вспомнился мне Михайловский.

Формула «делать дело» обманчиво совпадает с требованиями, предъявляемыми к поэзии в Москве, хотя внутренне ничего общего с ними не имеет: нельзя смешивать дело с делишками и многовековую молча-

ливую духовную работу ощупью, приправленную бесчисленным западнями и внезапными пробуждениями в тупике, нельзя же отождествлять даже слабое подобие ее с одами, внушенными очередной партийной резолюцией и прочим. Не стоит об этом и говорить: лошади едят сено и овес.

Надо дело делать – и, к великой чести Блока, следует сказать, что он чувствовал это глубже какого-либо другого нового русского поэта. Чем был бы без него русский модернизм, этот столь теперь восхваляемый серебряный век, похожий на пир во время чумы? «Век» был вызывающе беспечен и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию века предыдущего. «Век» бессовестно играл в тайны, многозначительно давая понять, что узнал что-то важнейшее, открыл что-то вещее, и многие из нас, из тогдашнего декадентствовавшего стада, из тогдашней желторотой литературной молодёжи, откликались, ловились на удочку и с дрожью раскрывали «Весы» или даже поздний, уже обмельчавший «Аполлон», надеясь вот-вот прозреть, приобщиться, удостоиться посвящения[5].

Блок по природной честности своей не допускал обмана, верил не только Соловьеву, но и тем, кто на фальшиво-глубокомысленной интерпретации соловьевских трех видений бойко делал литературную карьеру. А когда догадался, что был одурачен, сделался навсегда

---

[5] Думаю все же, по далеким, дорогим воспоминаниям, что «что-то» загадочное, неподдающееся определению, «какой-то отблеск какого-то света» тогда действительно мелькнул в сознаниях. Но сколько было лживой шумихи, бесподобно описанной Андреем Белым, сколько было подделок, подлаживаний! Уже здесь, в Париже, у меня был об этом любопытнейший разговор с Зинаидой Николаевной Гиппиус, «бабушкой русского декадентства», разговор, о котором стоило бы когда-нибудь рассказать. Она отрицала то, что до сих пор представляется мне несомненным, и настойчиво повторяла: – Нет, не было ничего! Но едва ли была она права.

угрюм и печален, вплоть до революции, которая его не оживила, нет, а только гальванизировала. Не в этом ли ключ к «Двенадцати»: обида, счет за духовное шулерство, поиски хоть какого-нибудь выхода и избавления. Блока возвышает не столько самый талант, сколько требовательная и настороженная серьезность таланта, отталкивание от комедиантства, слух к ошибкам и горечь от сознания их, в частности своих личных, к которым перед смертью причислил он «Двенадцать» как ошибку тягчайшую. Блок знал, что поэзия должна быть делом, но, как никто другой, чувствовал и пропасть, отделяющую «должна быть» от «становится», «стала». Он запутался, погиб, но погиб в столкновении с силами, которые навсегда в русской литературе облагородили его облик. Даже стоя на этом берегу, он обращен был к берегу иному и весь озарен был его далёким сиянием.

LXIII

Один из молодых французских критиков, сын известного романиста, да и сам романист, один из тех преуспевающих литераторов, которые все понимают, за всем следят, все новое принципиально одобряют, обо всем высказывают самые утонченные, самые что ни на есть смелые суждения и мысли, – критик этот недавно писан:

«Мы теперь поняли, что поэзия тоже (“тоже”: очевидно, как и наука?) даст нам знание»[6].

Я прочел и, усмехнувшись, вспомнил то, что сказал о поэзии Боссюэ: «La plus joilc de toutes les bagatelles» – «Самый хорошенький из всех пустячков».

---

[6] Догадка при пересмотре текста: возможно, что термину «знание» придано здесь значение ограниченно-психологическое, внушенное Фрейдом, Юнгом или новейшими теориями о природе слова. Но опрометчивости его это не уменьшает.

Конечно, Боссюэ не совсем прав или только в девяти случаях из десяти прав. Человек это был, бесспорно, гениальный, по мнению Поля Валери, даже первый французский писатель, стилистически первый, никем не превзойденный. Однако жил он в одну из тех повторяющихся в истории эпох, когда распространяется чувство, что все окончательно достроено и упорядочено, что остается только в мелочах усовершенствовать достигнутое, а искать больше нечего. Помимо того, истина, по его убеждению, была давно известна, она была полностью в католичестве, и, с великой страстью и нетерпимостью истину эту отстаивая, он не мог отнестись к поэзии иначе, чем как к шалости. Вскоре, однако, мир стал давать трещины, все было мало-помалу подвергнуто пересмотру – замечательная книга Поля Азара «Кризис европейского сознания 1680–1715», неужели не переведена она на наш язык? – и взгляд на поэзию не мог не измениться.

Но вернусь к утверждению французского критика. Во-первых, как всегда в подобных обстоятельствах, надо бы спросить: кто это «мы»? А во-вторых, неужели можно, положа руку на сердце, отрицать, что, если поэзия и обогащает нас чем-то смутно похожим на знание, то лишь в редкостно-редчайших случаях, раз или два в столетие, посреди бесчисленного количества «пустячков» всех видов, направлений и школ? Да и открывает это знание лишь то, что над нами есть «нечто» – без имени, без образа, без ответа. У нас в России, может быть, единственный такой случай – Лермонтов: темное, иссиня-черное, таинственное небо над его стихами. Метафизичность Лермонтова сильнее, она у него вернее, чем у других наших поэтов – в особенности у поэтов новых, вероятно, потому, что в новые времена возникла почти повальная болтливость. Болтливость, именно болтливость отличает серебряный век

от золотого: один, с трудом и сомнением прорвавшийся у «золотых» намек «серебряные» с хмельным упоением принялись разжижать и многословно развивать, ничуть не делая, однако, мнимое знание полнее и отчетливее. Блок, «дитя страшных лет России», питомец окружавшей его среды, по сравнению с Лермонтовым (и конечно, Пушкиным) болтлив, а о Пастернаке и говорить нечего: недержание догадок, призрачный мыслей, снов, предчувствий, густо приправленное метафорами, очевидно, за отсутствием других подпорок. Разумеется, немедленно нашлись и критики, «литературоведы», готовые в каждом случайно подвернувшемся эпитете обнаружить глубокий смысл и, как когда-то Луначарский, поблескивая роговыми очками, авторитетно и солидно разъясняющие доверчивым аудиториям, в чем этот смысл состоит.

(Пишу и думаю: зачем? Зачем пытаешься ты навести свою аскетическую одурь на тех, кому весело и занятно сочинять стихи, похожие на пирожки с кремом? А в особенности на тех, кто там, в России, в молодой своей модернистической резвости, отталкиваясь от внедряемых начальством прописей, ищут «ярких, блестящих образов», «необычайно острых ритмов» и прочей дребедени? Во-первых, все равно не наведешь. Во-вторых, если даже в правоте своей ты уверен, то неужели так же уверен, что истина должна всегда восторжествовать? Что правоте по самой природе её обеспечено признание? Что рано или поздно жизнь ей подчиняется? Скорей ведь наоборот, и очень много в истории, от самого великого до самого малого, в этом убеждает. «Пора смириться, сэр».)

Молодые наши модернисты учились главным образом у Пастернака. При все, что было в Пастернаке шаткого и как бы ветреного (в том смысле, в каком можно бы это сказать об Андрее Белом, но нельзя сказать

о Блоке), он был, конечно, подлинным и большим поэтом. В этом не было бы сомнения, не напиши он даже ничего, кроме пяти-шести таких стихотворений, как «Никого не будет в доме…». Но у Пастернака почти никогда не бывает преодолена выделка. Нет одухотворяющей небрежности. Словесная ткань чуть-чуть слишком «шикарна», чуть-чуть «воняет литературой», по выражению Тургенева. Изделие из очень хорошего магазина, сработанное очень искусным мастером, но это именно изделие, перед которым, как перед роскошной витриной, изнемогая и потея от вожделения, стоят зеваки-прохожие. Вместе с тем было в Пастернаке что-то «телячье-восторженное», слишком назойливолирическое, слишком демонстративно вдохновенное, вроде как у Ленского, с его кудрями черными до плеч. Ахматова сказала о нем, что он «одарен каким-то вечным детством», и это постоянно приводится как дань восхищения. Но комплимент двусмыслен. Ни к одному из других больших русских поэтов отнести его было бы невозможно.

LXIV

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без ее отдалённого присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны».

Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти – строками, которые настолько поразили и околдовали Шестова, что он без конца их цитировал и на них ссылался. Правда, по Платону смерть – источник и побуждение философии[7]. Но поэзии – тем более. Если

[7] Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрёк их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошли ли тут недоразумения? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя

бы не было смерти, о чём поэзия? К чему поэзия? Так, для забавы, для мимолетной услады. Только и всего.

Пушкин, удивительные в своей твёрдости и мужественности строки его: «И от судеб защиты нет», «И пусть у гробового входа…» – будто в подтверждение того, что он помнит, о чём всегда помнить надо, в поучение неисправимым поэтическим весельчакам, готовым счесть его своим союзником. В одной малозамеченной, но умной книге о Пушкине, вышедшей где-то в Белграде или Софии лет тридцать тому назад, «Пушкин и музыка» Серапина – есть определение тональности пушкинской поэзии: «трагический мажор». Как верно! Одно из редких, как будто творческих замечаний о Пушкине, если не считать, конечно, полезных, кропотливых, интересных, но все-таки мелкоинтересных, второстепенно-интересных изысканий по вопросу о том, какая пушкинская строка по ошибке включена в такое-то стихотворение или с кем Пушкин в Москве, после свидания с царём, пил чай.

Во всём великом, что людьми было написано, смерть видимо или невидимо присутствует.

Она не всегда тема, но она всегда фон, как и в нашем существовании. То, без чего искуснейшее повествование, размышление или стихотворение неизбежно остаются плоскими. То, что оттеняет каждое слово. Нестерпимая бездарность казённой советской литературы, при явном обилии дарований, коренится именно в том, что смерть в ней забыта. Будто не стоит о ней думать. Бессмертие, товарищи, в коллективе, в общей работе, в возведении нового общественного строя! Ни вызова, ни отчаяния, ни преодоления,

---

и самого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения – как у нас осуждение Шекспира Толстым.

ни света, ни мрака впереди, ничего из вечного человеческого достояния. Таблица умножения в отмену будто бы никчемных логарифмов.

LXV

Настоящая поэзия возникает над жизнью, все в себя вобрав, все претворив, а не в стороне от жизни, всего избегнув, всего испугавшись. «После» жизни, а не «до» нее.

Краска стыда лице Фета (как у Ницше: «Краска стыда на лице Платона»). Впрочем, не Фета подлинного, не Афанасия Афанасиевича, которого надо бы еще прочесть и перечесть по-новому, а Фета нарицательного, того, который возвеличен в пику Некрасову, то есть Фета как олицетворение «поэтичной поэзии», со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами, за которых он частично ответствен.

Бальмонт: «Я зову мечтателей, вас я не зову». И не зовите, не трудитесь: все равно не пойдем.

LXVI

Отчего застрелился Маяковский?

Ответы даны были разные, и вероятно, в каждом из них есть доля правды. Люди редко кончают с собой по одной причине: одна причина, может быть, и была главной, но сплелась с другими, и все вместе они привели е самоубийству.

Маловероятно, чтобы мое представление о будто бы «главной» причине смерти Маяковского оказалось правильным. Очень мало надежды на это. Но как хотелось бы, чтобы это было так!

Маяковский мог покончить с собой от сознания, что свой огромный поэтический дар он не то что растратил, нет, а погубил в корне. Оттого, что, будучи

по природе избранником, он предпочел стать отступником. Оттого, что заключил союз с тайновраждебными себе силами. Имею я в виду не большевизм, к которому он поступил на службу, – объяснение упадка его творчества, дававшееся Пастернаком. Нет, дело не в этом, вовсе не только в этом. Маяковский с первых своих юношеских стихов принял нелепую, ребячески-наивную позу: громыхать, ругаться, поносить все без разбора. Мир подгнил, мир порочен, корыстен, темен, убог? Это не новость. Поэты как ни в чем не бывало пишут о ручейках и цветочках? Поощрять их не следует. Но есть другая поэзия, есть другой её образ, и перед ним площадная демагогия ничем не лучше цветочков. Пожалуй, даже хуже, потому что претенциознее и заносчивее, оставаясь столь же уныло-банальной. Перевоспитать читателей? Ну, допустим, перевоспитает (это отчасти Маяковскому удалось), допустим, читатели начнут восхищаться посрамлением цветочков – а что дальше? Допустим, будет «сублимировано» хамоватое панибратство с землей и небом, как в «100 000 000», – а что дальше? Нет, не могу понять, как Маяковского до конца жизни не стошнило от собственных его од, сатир и филиппик.

Пастернак упрекал Маяковского в уподоблении какому-то футуристическому Демьяну Бедному, делая исключение для последней его вещи – «Во весь голос»: она, по его мнению, гениальна. Да, она могла бы оказаться замечательной. Трагическое, почти некрасовское дыхание, мощная ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации – все это могло бы оказаться неотразимо. Но плоский, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок и под этой грошовой известкой отлично себя чувствует. На двухаршинный взлет он ведь только всего и был рассчитан! А слова, то есть

дословное содержание текста, в поэзии все-таки имеют значение, поскольку она не «проста, как мычание». Приходится угадывать то, чего в стихотворении нет, с унынием перечитывая то, что в нем есть…

Как возвеличена была бы память о Маяковском в русской поэзии, если бы верным оказалось предположение, что он ошибку свою понял и не в силах был с ней примириться! До крайности мало вероятия, что это было так. А все-таки «тьмы низких истин нам дороже…».

LXVII

Блока я знал мало.

Относился я к нему приблизительно так же, как Эдуард Род, забытый, но довольно замечательный швейцарский романист, к Толстому, – с уважением, с преклонением почти суеверным. Эдуард Род всю жизнь мечтал о поездке в Ясную Поляну, но желания своего так и не исполнил. «С чем я поеду, что я ему, Толстому, скажу?» – заранее смущался он, откладывая поездку из года в год. Думая о знакомстве с Блоком, я тоже спрашивал себя: что я ему скажу?

Впервые я увидел его в Тенишевском полукруглом зале, на вечере памяти Владимира Соловьева, – десятилетие со дня смерти? – будучи еще гимназистом. «Ночных часов» тогда ещё не было, но была волшебная – по крайней мере, казавшаяся мне волшебной – «Земля в снегу»:

О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта…

Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума. Кому не было шестнадцати или восемнадцати лет в пору блоковского расцвета, тот этого не поймёт и даже, пожалуй, с недоумением пожмет плечами. Да, от Блока многое уцелело, осталось в русской поэзии навсегда.

Но дух эпохи выветрился, обертона её, особые её веяния, её трепет, её надежды – это теперь неуловимо. А Блок был сердцем и сущностью эпохи, и теперь стихи его уже не те, не таковы, какими когда-то были. Это случается в истории искусства. Счастлив тот, кто был молод, когда появился вагнеровский «Тристан».

Потом были редкие, случайные встречи. Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смутило. Помню эпизод с переводами Гейне.

Блок, эти переводы редактировавший, колебался, следует ли наново перевести «Два гренадера». Гумилёв вызвался предложить ему на выбор с десяток переводов знаменитой баллады и просил друзей и учеников этим заняться. Мы трудились целую неделю, и, право, некоторые переводы оказались совсем недурны. Но Блок отверг их – и оставил старый перевод Михайлова.

«Горит моя старая рана…» – задумчиво, чуть-чуть нараспев произнес он Михайловскую строчку, будто в укор всем нам, в том числе и Гумилёву.

У меня было письмо Блока, одно-единственное, увы, оставшееся в России, – письмо в ответ на первый, совсем маленький сборник стихов, который я ему послал. Насколько можно было по письму судить, стихи ему не понравились, да и могло ли быть иначе? За исключением трёх или четырёх строчек не нравились они и мне самому. Зачем я постарался их издать? Для глупого молодого удовольствия иметь «свой» сборник стихов – «как у других», о, поручик Берг! – и делать авторские надписи.

Письмо Блока по содержанию своему польстить мне никак не могло. Но сдержанно-отрицательную оценку искупил тон письма, дружественный, вернее – наставительно-дружественный, от старшего к младшему,

проникнутый той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове.

Последние строчки письма помню наизусть, хотя и прошло с тех пор почти полвека:

«Раскачнитесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь».

LXVIII

Ницца. Андрэ Жид.

Я сидел в кафе и что-то писал. Невдалеке грузный, осанистый старик перелистывал толстую французскую справочную книгу «Ле Боттен» – и, не знаю как, уронил ее на пол, опрокинув и стоявший перед ним стакан. Я поднял голову и узнал Андрэ Жида. Знаком я с ним не был. Но в своем «Дневнике» он одобрительно отозвался о коротком докладе, прочитанном мною за несколько лет до того, – и я решил к нему подойти, тем более что ему, по-видимому, трудно было поднять упавшую книгу.

– Мсье Андрэ Жид?

– Да, Жид… а что дальше? (Непереводимое французское «et apres».)

Вид был хмурый, голос сердитый, почти вызывающий. Позднее он объяснил мне, что к нему довольно часто подходят люди, знающие его лишь с виду, и что он неизменно их «отшивает».

Я назвал себя, поблагодарил за отзыв, он протянул руку, сделался очень любезен. Мы условились встретиться в том же кафе на следующий день.

Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов – частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе людей, которые все понимают, даже

и то, что должно было бы им быть чуждо, а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, какого он вообще встречал.

Разговор с Андрэ Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, предвкушал. Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделав ставку, и воспринимает малейшее критическое замечание о «Карамазовых» или «Бесах» как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре «Вье Коломбье», что кое в чём всё-таки ошибся, кое-что просмотрел и, как в таких случаях бывает, не старался ли сам себя переубедить? Ничего невозможного в этом нет.

После Достоевского речь зашла о Маяковском, об Эренбурге, затем довольно неожиданно о Мережковском, которого Жид не любил и упорно называл Мерейковским, очевидно считал, что французское «жи» в этом имени соответствует русскому «и краткому». Потом он заговорил о советской России, о каких-то катакомбах, которые должны там возникнуть, о бессмертном русском духе, который в эти катакомбы уйдет до лучших времен… Было это довольно выспренно, слегка театрально.

Я слушал его, и мне хотелось спросить: «Как может случиться, что вы, Андре Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая, во всяком случае, на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?»

Конечно, я этого не спросил, да в такой форме и нельзя было бы спросить это. Личные мои чувства зна-

чения не имеют. Но вопрос сам по себе интересен и даже важен, и так или иначе в беседе с Жидом поднять его можно было бы.

Без постылого российского зазнайства, без патриотического самоупоения ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в какой-то одной плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука – и в конце концов, значит, к правде и лжи, – русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей дара этого наделен.

Во всяком случае, она была первой в мире. Не уверен, что можно было бы без натяжки сказать «была и осталась до сих пор».

LXIX

В коммунизме загадочно то, что он до сих пор для тысяч и тысяч людей сохраняет свою притягательную силу. Даже после всех его российских метаморфоз.

А между тем многие, многие из этих людей твердо знают, что если бы в любой из теперешних буржуазно-либеральных стран произошел переворот, то житься им в ближайшем будущем, на их веку, стало бы гораздо хуже, чем жилось прежде, как бы мало прежняя жизнь их ни удовлетворяла, сколько бы ни накопилось в их сердцах обиды, зависти и мстительности. «Les ledemains qui chantent», по слащаво-картинному выражению Вайяна-Кутюрье, то есть царство справедливости и равенства, может быть, когда-нибудь и наступит. Если и в высшей степени сомнительно, что это царство принесет человечеству счастье, то все же мечта о нём понятна. Исторически мечта о нём обоснована, счёт предъявлен за долгое, долгое прошлое, так или иначе платить по нему приходится… Но в ближайшем-то будущем, после переворота, возникнет гнёт, насилие, жизнь без отдушин, полицейщина, ограничения, всё хорошо знакомое, всё,

по-видимому, неизбежное. Одно, два, три поколения окажутся принесены в жертву этому «певучему большинству», за исключением юркого меньшинства, вовремя прильнувшего к новым властителям. Остальным будет, наверное, хуже. Каждому отдельному человеку будет хуже, чем было прежде. И всё-таки эти остальные, эти отдельные люди сочувствуют, помогают, стараются, стремятся, борются, будто жертвуя собой для проблематического обещанного рая. Что это, действительно жертва, внушаемая каким-то действительно существующим многомиллионным тёмным «я», которое пренебрегает единичными лишениями и страданиями? Или это просто слепота, наивность, иллюзия?

«Лес рубят – щепки летят» – самая бесчеловечная из всех пословиц.

LXX

У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то заметил, что любопытно было бы – будь это возможно! – пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался.

– Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это ведь бывает, я и других таких людей знал. Ленин, тот понял бы все с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас… сами знаете куда.

По утверждению Бердяева, основным побуждением Ленина была ненависть к былому русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов придет, об этом Ленин будто бы не думал, хотя своё безразличие к буду-

щему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? Не прав ли был Герцен, предвещавший в далёком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, это нисколько не интересовало.

– Ленин оттого и добился своей цели, – говорил он, – что признавал только цель ближайшую, а рассуждения, к ней ведущие или тем более задерживающие её осуществление, презирал и отбрасывал как занятие пустое и вредное.

LXXI

Поразивший меня чей-то рассказ у Мережковских за воскресным чайным столом.

Захолустный городишко в Псковской губернии. Первые революционные годы. По стенам и заборам афиши: «Антирелигиозный диспут. Есть ли Бог?». Явление в те времена обычное.

Народу собрал очень много. Остатки местной интеллигенции, лавочники, бородачи-мужики, две какие-то монашенки, пугливо посматривающие по сторонам, молодежь. Выступает «оратор из центра».

– Поняли, товарищи? Современная наука неопровержимо доказала, что никакого Бога нет и никогда не было. Так называемый Бог определенно является выдумкой представителей капитала с целью эксплуатации рабочего класса и содержания его в рабстве. Коммунистическая партия главе с товарищем Лениным борется с предрассудками, и нет сомнения, что вскоре окончательно их ликвидирует. Невежеству и суеверию пора положить конец…

И так далее… Доклад окончен. Председатель предлагает проголосовать заранее составленную резолюцию с единогласным упразднением Бога.

– Может быть, кто-нибудь просит слова?

Руку поднимает старик, одетый, как все, но с подозрительно длинными волосами, уходящими под воротник. Председатель иронически приглядывается к нему.

– Поднимитесь, гражданин, на эстраду… В вашем распоряжении три минуты, чтобы ознакомиться собрание с вашим мнением по вышеизложенному вопросу.

На эстраде старик мнется, долго молчит, но наконец громко, на весь зал, восклицает:

– Христос Воскресе!

Поднимается шум. На эстраде, где сидят лица начальственные, суматоха, растерянность, кричат, перебивают друг друга, кто-то предлагает немедленно закрыть собрание, другой требует нового голосования… Но вот встает заведующий отделом Народного образования, солдат-коммунист, до тех пор молчавший, недавно вернувшийся с фронта. В ожидании пламенной и гневной отповеди зазнавшемуся пособнику буржуазии воцаряется тишина. Солдат медленно, чуть пошатываясь, подходит к старику, кланяется ему и произносит всего три слова:

– Воистину Воскресе, батюшка!

Что было дальше, не знаю. Несомненно, коммунист этот был со своего поста смещен, вероятно, и арестован. Но нельзя ему не позавидовать. В эти секунды, собрав все свое мужество, предвидя последствия своего поступка, он должен был испытать огромное, редчайшее счастье, то, за которое заплатить стоит чем угодно. Львы, римские арены – здесь, пусть и в потускневшем виде, было, в сущности, то же самое.

LXXII

Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, а мыслитель почти никакой. Но в нем было

«что-то», чего не было ни в ком другом. Какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук неизвестно чего. Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему составу, таким же, как все мы. А он – нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденно-диковинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немножко «марсианин». Было при этом в нем и что-то мелкожитейское, расчетливое, но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал и, конечно, никогда не услышу. «Арфа серафима!». У Блока есть в дневнике запись о том, что после какой-то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку – «потому, что он царь над всеми Адриановыми». У меня не раз возникало то же чувство, и над всеми нашими «нео-Адриановыми», он царем бывал всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто что-то действительно свое, ему одному понятное он уловил в волшебных лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она…

Какой-то частицей своего существа он, должно быть, в самом деле «томился на свете».

А в книгах нет почти ничего.

LXXIII

Перечитываю – в который раз! – Достоевского.

И в который раз с удивлением вспоминаю, что находятся люди, требующие единого твердого взгляда

на великие литературные явления, люди, не допускающие противоречия в суждениях, подхода с разных сторон, спора с самим собой, наконец – беседы с самим собой…

Перечитываю Достоевского. Да, есть какая-то шаткость в замыслах, многие из которых правильнее было бы назвать домыслами. Нередко есть фальшь, как во всем, что не найдено, а выдумано. «Высшая реальность» Достоевского порой перестает быть реальностью вовсе, в любом значении слова, и, как бы ни захлебывались от метафизического восторга современные властители и вице-властители дум, от нее едва ли многое уцелеет. Мучительные усилия договориться до чего-то ещё неслыханного, произвольные догадки – и удар головой о крышку, над всеми нами плотно завинченную. Да, это так.

Но всё-таки Достоевский – писатель единственный, заменить, «перечеркнуть» которого никаким другим писателем в мире нельзя. Однако не в плоскости «проблем».

О человеке, которому «пойти некуда», обо всем, до чего истерзанное человеческое сердце может дочувствоваться, о стыде, отчаянии, боли, возмущении, раскаянии, об одиночестве не писал так никто и никогда никто не напишет. Перечитываю главу из «Подростка», ту, где мать с пряниками и двугривенным в узелочке приходит во французский пансион к своему болвану-сыну – нет, это всё-таки страницы единственные, – и да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за все, что оба они о Достоевском наговорили, да простит Набокова за «нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром» (цитирую из «Отчаяния» по памяти, но, кажется, верно) и всех вообще, кто в этом страшном свидетельстве о человеке и человеческой участи в мире ничего не уловил и не понял.

LXXIV

Было это в Париже, ночью, незадолго до войны.

В дверях монпарнасского кафе «Дом» стоял, держась за косяк, поэт Верге или Вернье, не помню точно его имени, знаю только, что друзья считали его чрезвычайно талантливым, хотя и погибшим из-за беспутного образа жизни. Хозяин ругательски ругал его и выталкивал, а он упирался, сердился, требовал, чтобы его впустили обратно. Наконец его вышвырнули на улицу. Случайно я вышел вслед за ним. Он стоял под дождем, без шляпы, в изодранном пальто и, опустив голову, еле слышно, совсем слабым голосом повторял:

– O, Dostoievsky, o, Dostoievsky! – взывая к Федору Михайловичу как к последнему оставшемуся у него защитнику, покровителю всех униженных и оскорбленных.

На ту же тему очень хорошо сказал о Достоевском английский поэт Оден (Auden) в статье, написанной к его юбилею, несколько лет тому назад.

«Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, недостойно называться человеческим».

LXXV

Думая, о том, что сейчас происходит в мире, о. том, что сделало двадцатое столетие с мечтами и надеждами прошлого века, многие из нас, вероятно, с особой горечью вспоминают всё написанное о «народе – богоносце».

Политические предсказания и догадки о судьбах человечества – дело исключительно сложное и рискованное: за редчайшими исключениями – вроде лейбниценского описания грядущей французской революции – все они оказываются плодами слепой

фантазии. Очевидно, историческая закономерность не так сильна, как принято считать, или, во всяком случае, основана она не только на том, что поддается учету и анализу, но и на том, что остается неуловимым.

С «народом-богоносцем» нам очень не повезло. Как известно, некоторые из самых глубоких русских умов – Тютчев, Достоевский и другие, – утверждали, что Россия призвана спасти мир: Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества. Это очень русская мысль, проходящая через почти все русские писания, окрашенные в славянофильские тона. В некоторых своих разветвлениях – у Данилевского, например – она почти доходит до нетерпения в ожидании неотвратимой будущей финальной схватки или, точнее, войны, этого «единственного достойного способа решения мировых вопросов».

Сейчас Запад с Россией как будто поменялись ролями, и об этом одинаково часто приходится и читать, и слышать: в наше время Запад будто бы представляет христианство и христианскую культуру, Россия представляет сатану и всё сатанинское.

Долю истины, долю иллюзии в этих современных суждениях, каждый определит по-своему, – на то ведь это и современность! Но вот, что, однако, ни сомнению, ни спорам не подлежит: со всем строем прежней русской мысли, поскольку она нашла свое выражение у Достоевского или у Тютчева, соображения насчет обмена ролей не имеют ничего общего.

Тютчев, как свидетель, в данном случае ценнее и важнее, чем Достоевский, хотя бы потому, что последовательнее его. Знаменитая его статья о «России и революции» есть своего рода манифест или катехизис христианского призвания России, как отчасти и вторая

статья, о «Римском вопросе», с ее величественным и картинным заключением: русский царь, благоговейно павший ниц в соборе Св. Петра, а вокруг него, символически, вся Россия, тоже на коленях.

Тютчев, несомненно, признал бы, что в наше время Россия с колен встала и христианское свое служение отвергла. Но признал ли бы он, что на колени опустился Запад? Нет ни малейшего основания утверждать это.

Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы, как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский, – менее блестящий в мыслях, конечно, но более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, – если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря или, на крайность, один полностью сатанинский – в России, другой полусатанинский – на Западе.

По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил и сейчас происходит нечто, вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того, чтобы спор этот мог иметь решающее значение. Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по-другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.

Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней, сделать крутой поворот на сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остался таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.

Всё, что отвращало. Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной

демократический принцип – для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть человеческого “я”, бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофеозом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождями? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за подлинного христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер – плоть от плоти католичества и был в нем логически – неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).

Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скудная природа» исчезли в России за всякими электрофикациями и Днепрострои, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения – навеки незабываемого, чудесно одушевленного, будто насквозь светящегося! – если об этом глупо и кощунственно было бы говорить в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.

Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам, игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.

Не думаю, чтоб эта философия – в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной – пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь

попытался ее гальванизировать. Мысль приноравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода… Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.

LXXVI

Более полутораста лет тому назад Карамзин, под непосредственным впечатлением французской революции, задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор: как могло случиться, что идеи и принципы несомненно благотворные, привели к невиданным в истории ужасам? в чем дело? случайно ли это?

«Век просвещения, я не узнаю тебя! В крови и пламени, среди убийств и разрушений я не узнаю тебя! Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Сердца ожесточаются ужасными происшествиями… Я закрываю лицо свое…».

Много позднее Герцен, у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, вспомнил эти слова и признал, что они «бьют в самую точку». Еще позднее, в 1904 году, Лев Толстой записал в дневнике своем мысль, если не совсем однородную, то все же задевающую те же самые темы:

«Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием».

Вероятно, Карамзин согласился бы с Толстым. Но за ним остается то преимущество, что он в отмеченных и Толстым фактах увидел загадку, и в явно взволнованных словах передал ее на рассмотрение и возможное разрешение людям следующих столетий.

В самом деле, если и верно, что «насилие превратило истину в ложь», то надо бы спросить себя: откуда возникает насилие? почему? Есть ли надежда, что в будущем торжество свободы и равенства обойдется без насилья, подобно тому, как в России, в 1917 году, на несколько дней почти все поверили, что революция действительно останется «бескровной»?

Карамзинская загадка разрешается порой до крайности элементарно, так сказать по-обывательски. Объяснение должно будто бы свестись к тому, что властью завладели негодяи, жестокие, беспринципные, ненасытно-честолюбивые люди, которые ради ее удержания согласны на всё решительно. Кое-что в этом наблюдении может быть и верно, но беда-то в том, что это не столько объяснение, сколько именно наблюдение. Ничуть не идеализируя и не драпируя под добродетельных овечек ни Робеспьера, ни Ленина, надо бы всё-таки вглядеться в сущность вопроса, на которую поверхностные психологические замечания ответа не дают. Сделаем для ясности все необходимые уступки: признаем, что и в идеях, робеспьеровских или ленинских, «плоды наук и мудрости», оказались искажены, что в их личной окраске это – идеи фанатические, узкие, пусть даже изуверские… Но вопрос и после этого остается вопросом, во всей своей неумолимой, поразившей Герцена простоте. Революции совершаются во имя чего-то несомненно хорошего, правильного, нужного и справедливого. Почему вырождаются они во что-то злое и отталкивающее? Каким образом из добра возникает зло? Неужели действительно потому, что во главе доброго дела становятся злые люди? И если даже это так, чего же эти злые люди в конце концов хотят?

Как во всяком сложном историческом явлении, причины тут, конечно, скрещиваются и сплетаются. Нет единой, решающей причины, их множество,

и в каждом отдельном случае причины общие, постоянные, скрыты другими, связанными с данной эпохой и ее деятелями. Но кое-что, общее и роковое, выделить можно.

Народные волнения и перевороты сколько-нибудь длительные и глубокие движутся и одушевляются двумя идеями: идеей свободы и идеей справедливости, или иначе – равенства. Но понятия эти вовсе не дополняют одно другое, как мы часто по инерции считаем, а друг друга исключают. Никакой гармонии между ними достичь нельзя, до тех пор, по крайней мере, пока человек останется таким, каков он сейчас, и оттого-то третий член великого революционного символа веры – «братство» – в наше время стыдливо опускается и заменяется другим, менее лицемерным, не «брат», а «товарищ», или всего только «гражданин». Если бы достижимо было братство, всё было бы сглажено, все противоречия сами собой разрешились бы, и свобода с равенством, чисто по-карамзински, в слезах обнялись бы и установили бы между собой вечный мир. Но братства нет, а равенства человек не хочет.

В этом, вероятно, самая сущность, само острие вопроса: равенства человек не хочет или, во всяком случае, им не удовлетворяется. Он мечтает о нем, он требует его, пока от недостатка социальной справедливости страдает, и пока верит, что всеобщее правильное распределение всякого рода благ должно положение его улучшить. Если представить себе горизонтальную черту, символизирующую уравнение всех людей в обладании земными сокровищами, человек стремится к этой черте, пока находится под ней, ниже ее. Достигнув ее, он рвется вверх, не говоря уже о том, что находящиеся наверху ни малейшего желания спуститься не проявляют, разве что в самых исключительных случаях, примером которых должны бы остаться в истории

наши декабристы, доказавшие, что не всегда все-таки «человек есть то, что он ест».

Русская революция вначале сделала ударение на свободе и в лице первых ее руководителей была именно идеей свободы одушевлена. О горизонтальной черте равенства мало кто думал, а если и думал, то мысленно допускал ее лишь там, где она могла бы быть проведена безболезненно: равенство избирательных прав, например. Всё февральское, какими бы подземными толчками подготовлено оно ни было, предстало под ярлыком свободы, и потому мало кого испугало, а, наоборот, почти всех обрадовало – кто же, в самом деле, свободы не хочет? Но октябрь, на словах от свободы не отрекшийся, совершился во имя равенства, и никакие захваты власти, ни даже успехи в гражданской войне не были бы возможны, если бы мечта о равенстве, в самых примитивных ее формах, не владела десятками миллионов людей, не подозревавших, чем обернется она в будущем. Октябрьский переворот мог бы, конечно, кончиться неудачей, по причинам случайным, то есть местным, временным, психологическим, военным, каким угодно другим…

Но по общему, основному его устремлению – выразившемуся хотя бы в формуле «грабь награбленное» – торжество ему было обеспечено, тем более, что свободе он, казалось, угрожал только «постольку-поскольку» и, не церемонясь в отношении бывших баловней жизни, обещал – всем другим, то есть огромному большинству, довольство и покой.

Вероятно, и многие из тех, кто движением тогда руководили, – или думали, что руководят, – убеждены были в возможности гармонического сочетания равенства со свободой. Не Ленин, конечно, человек дальновидный, отбросивший всякие иллюзии, но, скажем, Каменев или краснобай Луначарский, искренне, кажется,

поверивший, что ворота в рай распахнуты и, после первых передряг, ему, как «наркому» предстоит беспрепятственно сеять разумное и вечное. Однако вскоре истина стала очевидна, ошеломив одних, заставив других изощряться в «революционной диалектике», то есть в более или менее бесстыдной болтовне. Истина обнаружилась: от свободы не осталось ничего, ни для кого, и вовсе не потому, чтобы октябрь сбился с пути, изменил себе, нет, наоборот, потому, что он изменил бы себе, если бы свободы не уничтожил.

Конечно, это лишь схема того, что произошло, а жизнь мало бывает похожа на схему. Еще раз: бесчисленные, почти неуловимые мотивы должны были сплестись, прежде чем образовать реальное историческое целое. Но схема тоже имела значение, и, вероятно, не меньшее, нежели что-либо иное… Движение по линии свободы, то есть, со свободой в качестве конечной цели, сопротивления не встречает. Движение по линии равенства наталкивается на бесчисленные «не хочу», не только сверху, но и снизу, задолго до всех проблематических будущих свершений. Отталкивает и ужасает новый, неожиданный тон власти, с первыми угрозами, с явственно ощущаемым впереди переходом от простого понуждения к чему-то неизмеримо более бесчеловечному и беспощадному.

Свободу можно, так сказать, «декларировать», без дальнейшей опеки над ней. Равенство можно было бы только навязать силой, и стремление к нему неизбежно ведет к контролю над поступками, действиями, а затем и над мыслями каждого отдельного человека. Каждый отдельный человек – как правило, с несомненными из него исключениями, – заботится прежде всего о себе. Даже веруя в достижимость свободы и благополучия для класса, как живого целого, он не согласен ради этого целого жертвовать собой. Класс, общество по сравнению

с ним самим – понятия почти ирреальные, условно живые, книжно-живые, как и пресловутое «классовое самосознание». Нет класса, есть Иван Иванович, который хочет, чтобы жена его ходила в шелковом платье, недоступном для жены Петра Петровича, и что особенно удивительно, от этого шелкового платья Ивану Ивановичу меньше радости, если жены всех Петров Петровичей в состоянии завести себе такие же! Именно так ежедневные, едва заметные многомиллионные маленькие взрывы сливаются в глухое, стихийное противодействие теоретически праведному и, по Карамзину, «святому» стремлению. Безотчетно или сознательно, человека тянет обратно, в первобытный лес, и никаких приглашений выйти оттуда он к себе лично не относит. (А стремление в самом деле «свято», хоть и находится в противоречии со всем тем, что можно бы назвать поэзией жизни, прелестью жизни, восхитительной пестротой жизни, – и это-то и заставляет людей константинолеонтьевского типа, эстетически чутких, но этически глухих, бледнеть от ярости и презрения при одном упоминании о нем.)

Неизбежно, само собой, стремление теряет энергию и слабеет. В непрестанных столкновениях искажается самое вдохновение его. Начинается игра словами, вроде того, что «равенство» не есть «уравниловка», хотя при зыбкости всех этих понятий и не видно, как могла бы безупречная, окончательная социальная справедливость без «уравниловки» обойтись.

Полицейское рвение, поощряемое сверху, расцветает пышным цветом. Волчьи инстинкты вырываются наружу – и в результате получается та страшная карикатура на общее счастье, на рабочий и демократический рай, которую нам и нашей эпохе впервые дано видеть во всей ее полноте.

LXXVII

У Белинского в письме к Боткину есть такое признание:

– Я понял кровавую любовь Марата к свободе…

Здесь два не совсем правильно употребленных слова: во-первых, едва ли в применении к Марату, можно говорить о любви; затем, если и была у Марата любовь, то не к свободе, а к другому облику, к другим стремлениям и другим мечтам революции.

Белинский в своем «неистовстве» всегда захлебывался словами, и требовать от него стилистической точности нельзя, особенно в письме. Но ошибка в выражениях объясняется него еще и тем, что между понятиями «революции» и «свободы» связь долго казалась неразрывной и естественной. Одно без другого не мыслилось. Белинскому, по-видимому, и в голову не приходило, что революция может свободе быть враждебна.

Вероятно, если бы он знал, что пришлось узнать нам, рука его дрогнула бы, «понял» не звучало бы у него, как «оправдал», «одобрил», и душевного расположения к Марату оказалось бы у него меньше.

LXXVIII

В дополнение ко всему тому основному, необходимому и подчас проницательному, что было о Тургеневе написано, дождемся ли мы когда-нибудь иной статьи о нем, о том, что было в нем самого «тургеневского»?

Определить тему было бы нелегко, потому, что сущность ее была самим автором тщательно скрыта под бесчисленными наслоениями. Некоторые из них исчезли, и о «певце русской девушки» или «поэте родной деревни» никто теперь не говорит. Но яснее от этого Тургенев не стал.

Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем, вместе с их общественными заслугами, забудем даже Базарова, как бы ни было жаль с ним расстаться: уж очень он Тургеневу удался, да если и не в нем самом, то в некоторых особенностях рассказа о нем кое-что сквозит очень существенное… Забудем вообще всё то боборыкинское, к чему Тургенев себя принудил: типы и образы сменяющих друг друга поколений, добросовестно уловленные и образцово обрисованные, со всеми их бесконечными разговорами. Тургенев оттого и остался холодным писателем, что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того, вероятно, не сознавая.

Был он человек слабый и в себе неуверенный, как будто даже чем-то испуганный. Была, вероятно, оттого в его писаниях какая-то постоянная фальшь, не громоподобная, взвивающаяся к небу, как порой у Гоголя, а вкрадчивая, уклончивая, застенчивая, с усмешечками, вроде, например, упоминания о петухе незадолго до смерти Базарова, петухе, странную неуместность которого так верно и остро уловил покойный Бицилли. Да и не только в иронии тургеневской была тончайшая фальшь. Вспомним «Живые мощи», один из тех рассказов, который больше всего вызвал восхищения как вещь несомненно классическая. Прекрасный рассказ, и всё в нем кажется прекрасно, пока вдруг не смутишь себя вопросом: а мог бы ли такой рассказ появиться за подписью Толстого? И сразу «Живые мощи» становятся смешны, сразу обнаруживается их сусальная благостность, их слащаво-лубочная и декоративная нарочитость.

Но это – эту фальшиво-дребезжащую струнку – Тургенев, вероятно, в себе чувствовал. Как чувствовал, вероятно, и «прохладность» свою, прохладную, беспредметно-беспричинную свою грусть. Ну, конечно,

он навсегда оттеснен на второй план своими двумя «сверстниками-гигантами», – о чем же тут спорить? Но слабый, легкий и тихий голос его никем всё-таки не заглушён и до сих пор отчетливо слышен. Особенно если иначе, не так, как прежде, не с теми требованиями, что прежде, к нему прислушаться.

Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собой, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он стать. Ему, по-видимому, тягостно было жить. Всё и везде ему было чуждо. Одиночество с каждым годом усиливалось. Романы куда-то проваливались, в небытие, в неизбежное забвение, и с его умом мог ли он этого не сознавать, какой бы ни курили ему фимиам? Всё проваливалось, он ни во что не верил, а главное – ничего не пытался изменить. Тут, в этой духовной скромности Тургенева, в отсутствии всякой самонадеянности, и уж тем более, всякой «гордыни», есть что-то неожиданно-христианское. «Смирись, гордый человек!» – вопиял, весь дрожа и задыхаясь от гордости, Достоевский, а Тургенев до него и без него это почти исполнил. Иногда, вдоволь намучившись над Толстым или Достоевским, спрашиваешь себя: а что, не ближе ли к тому, о чем с такой исступленной страстью и силой они кричали, не пробрались ли какой-то окольной тропинкой к недоступному для тех состоянию именно как «малые сии», которым всё обещано, а не как самозваные пророки, которым не обещано ничего, словом, не лучшие ли христиане самые тихие русские писатели – Тургенев и Чехов? Особенно Чехов. Но и Тургенев тоже, каким бы эллином он себя ни считал.

В «Стихотворениях в прозе» еще много мишуры. «Как хороши, как свежи были розы» и всё в этом роде, – Бог знает что, если наконец сказать правду, сплошная, нестерпимая патока! Но тут же рядом,

удивительные страницы, как, например, рассказ о бабе, которая похоронив сына, молча хлебала щи. Будто проблески – вот, вот, что надо было делать, вот как надо было писать! Если ты действительно грек, как о тебе говорят, в этих щах больше Греции, чем во всех роскошно увядающих букетах… Но поздно. Париж, старость, бесцельная и бессмысленная слава, огромная тень Толстого вдали, как упрек и угроза, и вероятно, тревожные, разъедающие душу воспоминания о тщетных попытках самого себя уверить, что вовсе не так Толстой и хорош, что «Война и мир» – дрянь, что «Анна Каренина» еще хуже, а потом, уже совсем перед смертью, знаменитое письмо к нему, образец истинного и естественного человеческого благородства. «Песнь торжествующей любви», тоже с чрезмерным обилием всяких «роз», но уже бесконечно далекая от зарисовки общественных типов и с первым вторжением чертовщины, столь плохо с ними вяжущейся. Мучительная жалость к стареющей Полине и остатки любви. «Моя бедная подруга своим совершенно разбитым голосом поет у себя наверху…». А ей, этой бедной подруге, даже не присылают уже и билетов в Оперу, где она когда-то блистала. Совсем забыли ее, как забудут и его. Как забудут всех. Что она поет? «Нет, только тот, кто знал…», самую магическую из всех мелодий Чайковского, ту, которую поет и Клара Милич. «Ниэт, только тот, кто зналь…». Всё проваливается, но Клара Милич придет с того света говорить о любви, обманывать, утешать, убаюкивать. Никакого нет бессмертия, и Базаров был прав, «лопух на могиле», но пусть это всего только темное волшебство, а Клара Милич здесь, и говорит она о любви. А они? О чем они все шумят? Что им надо? Даже Толстой, ведь тоже немолодой уже человек, какими пустяками он занят! Рассказывает «в чем его вера», учит чему-то. Не всё ли равно, по Толстому ли верить,

или так, как верит какой-нибудь сельский попик, только и знающий что бормотать «Сусе, Сусе, Христе»? Раз ничего нет? Лучше остаться с попиком, проще, скромнее. Да, есть искусство, и о Пушкине на московском празднестве он воскликнет – именно «воскликнет», а не скажет: – «Сияй же, благородный, медный лик…» – с такой трескучей риторикой, что хочется еще и теперь в стыде и растерянности закрыть лицо руками. Ему самому, вероятно, было стыдно! Но оттого и «сияй, медный лик», что нет о таких вещах настоящих слов и невозможно найти их. «Боязнь фразы есть тоже фраза». А люди этого не понимают и требуют от старика болтовни на юбилеях и чествованиях. Да, есть искусство, суррогат бессмертия. Надо было бы иначе искусству служить, писать о Кларе Милич, то есть не о ней именно, а в этом плане, без параллелей между эпохами и поколениями. Но поздно, «кладу перо», как издевался ослепший от ненависти Достоевский, «мерси, мерси», страшно, смерть идет, никто не может помочь, полное одиночество и холод вокруг, как холоден «зеленый зимний край неба в окне», о котором упоминается в одном из его последних писем. И что обещает он, этот край неба, о чем говорит он, кроме игры бессмысленных сил и наших миражей? Надо по мере возможности жить просто, жить благожелательно к другим, жить, как живут другие, не в том смысле как понимал это поручик Берг, а в смысле круговой поруки перед общей для всех участью, пожалуй, даже по-базаровски резать лягушек во имя прогресса и цивилизации и, конечно, молчать о том, что за «зеленым краем неба» решительно ничего нет и что даже Клара Милич со всеми потусторонними видениями – жалкий самообман, ампула морфия, помогающая сносить боль до той минуты, когда ни боли не останется, ничего…

LXXIX

А. говорил мне:

1) Да, нечего от себя скрывать истину: конечно, христианство не удалось. Исторический размах был огромный, но он давно уже суживается, и теперь вопрос только в том, удержится ли хоть что-нибудь…

Верующие скажут, что скрыта здесь великая тайна и великая надежда! Может быть! Но и верующим, вероятно, случалось ночью, в часы бессонницы, когда всё такое в уме перебираешь, вдруг вздрогнуть, чуть ли не вскочить в недоумении: как же так, если действительно это всемогущий Бог послал двадцать столетий тому назад Своего Сына на землю, если это правда, неужели могло бы всё ограничиться частичным и, в сущности, скромным успехом? За двадцать столетий неужели не произошло бы торжества несомненного и окончательного? Тайна! – невозмутимо ответят верующие. Но рассудок даже и при самом страстном стремлении к вере сохраняет свои права и на согласия «quia absnrdum» идти колеблется. Именно для рассудка, для разума христианство не удалось, то есть не удалось как целое, с его будто бы всемирным и всечеловеческим предназначением. А что в отдельных душах оно еще живо, да, вероятно, и всегда будет жить, кто же это отрицает?

Но вот что мне хотелось бы добавить: даже то частичное, даже то ограниченное, чего христианство достигло, есть ошеломляющее чудо истории. И тут действительно есть какая-то тайна. Потому что невозможно ведь ничего представить себе, что было бы в более очевидном разладе с природой, со всеми ее естественными силами, всеми ее потребностями, всеми ее законами.

Об этом верно… но, поймите, я не соглашаюсь с ним, я только нахожу, что по-своему он был прав!.. Об этом хорошо сказал Цельсий: для них зло есть добро,

а добро есть зло. Для них, то есть для первых христиан, – и это же вместе с ним ощутил весь Рим, вероятно, не допускавший на первых порах и мысли о возможной победе какой-то темной и безумной ереси.

Было синее небо; христианство сказало: нет, ночное небо лучше! Было здоровье и сила: христианство сказало: нет, плоть есть враг человека и надо ее умерщвлять! Было счастье; христианство сказало: нет, друзья, будем страдать и плакать! И так далее и так далее, почти до бесконечности, – всё оказалось вывернуто наизнанку. Нормально мир должен был бы расхохотаться, залиться плотоядным, презрительным смехом и вытолкнуть всех этих сумасшедших евреев обратно, в их вечно сумасшедшую Палестину, вместо того, чтобы приняться окрашивать их бред в благородные эллинистические тона. Но случилось то, чего нельзя было ждать, и никакие ссылки на тоску и растерянность языческого мира к началу нашей эры всего не объясняют и не оправдывают. Стоит только стряхнуть с себя нашу общую двадцативековую привычку к результатам этой «переоценки ценностей», как слова Цельсия предстают во всей своей неопровержимости. Действительно, есть тут какая-то тайна, или скажем проще: загадка!

2) Под окном шла бесконечная католическая процессия, с детьми впереди, со взрослыми за ними, с крестами, хоругвями, священниками, певчими, затем снова детьми, с какими-то стариками и старухами, и была на всех лицах такая глубокая, счастливая вера, что я вспомнил Розанова, одну из тех фраз его, которые пронзили меня на всю жизнь: «И да сияют образа эти вечно!», из предисловия к «Лунному свету».

Но оставим Розанова… Шла у меня вчера под окном католическая процессия. На всех лицах была вера, и если бы любого из шедших спросить: ты знаешь, что ждет людей за гробом? ты знаешь, что будет Страшный

Суд? ты знаешь, что есть рай и ад? – каждый без колебаний ответил бы: верю, знаю.

И вот я подумал: до чего доверчивы люди! В сущности, они ведь ровно ничего не знают. Но им сказали, что за гробом будет то-то и то-то, что на небесах происходит то-то, – и они приняли всё это, как истину, с чужих слов. Духовный опыт? Бросьте ссылаться по привычке на этот вздор. Духовный опыт, если и бывает, то у одного человека на миллионы, да и то сводится он к чему-то бесформенному и неуловимому. А тут ведь у каждого в голове таблица с описанием и расписанием всевозможных потусторонних происшествий и ни малейшего сомнения насчет ее точности… До чего доверчивы люди! Откровение? Откровение, если и было, то ведь никак не у них; им рассказали, что было Откровение, что в таких-то книгах оно запечатлено. И они поверили! Если вдуматься, это ошеломляет. Один за другим идут, поют, что-то будто бы знают, веками, веками, и всё с чужих слов… Но и хорошо, что верят, было бы в мире больше несчастных людей, если бы не верили, «и да сияют образа эти вечно!».

LXXX

3) У меня нет сына. И, пожалуй, слава Богу, что нет. Потому, что если бы у меня был сын, я не знал бы что ему сказать. Знаете, я всегда представляю себе – хоть на деле это вероятно редко случается, – что в шестнадцать-семнадцать лет мальчик может прийти к отцу и сказать приблизительно следующее: «Папа, ты прожил несколько десятков лет, ты много видел и читал, много думал, скажи мне, что такое жизнь? скажи мне, как надо жить?»

И я не знал бы, что ему ответить. Вероятно, я сказал бы ему то же самое, что сказали бы в таком случае

и другие: надо работать, надо иметь идеалы, надо быть честным и смелым, надо уважать чужие мнения. Надо, наконец, «бороться», как принято выражаться: неизвестно, за что бороться, но бороться. Как же в самом деле не «бороться»! Но если бы сын у меня был умный, не такой, от которого можно отделаться прописями, он понял бы, что у меня нет для него ответа. Не только насчет того, что такое жизнь, – тут никакого ответа и не может быть! – но и о том, как следует жить и что важнее всего в этом смысле. Да, я прожил несколько десятков лет, читал, вглядывался и по мере отпущенных мне сил думал. Но чем глубже вдумываюсь, чем больше себя проверяю, тем яснее сознаю, что не могу ни на чем остановиться окончательно. Конечно, надо работать! Конечно, надо бороться! Но… но… и тут меня охватывают такие сомнения, и даже за других, такая усталость от трудолюбивой поддержки всех наших шатающихся устоев, что в конце концов положил бы я сыну руки на плечи и сказал бы: «Не знаю, дорогой! И не верь тем, которые думают, что знают». Если бы он хотел просто-напросто добиться успеха в жизни, рецептов для этого сколько угодно. Но сомнения-то мои именно к успехам и обращены, притом не только в грубых их видах, но и в других. Пожалуй всё таки кое что я посоветовал бы… Как там сказано: «учитесь властвовать собой»? Так вот, не «властвовать», а «жертвовать»: учитесь жертвовать собой! Не очень собой дорожите, а остальное приложится… Да, приложится, даже если с такими советами, как мои, и умрешь ты где-нибудь под забором, не оставив никакого следа, ни на каком «поприще». Вот насчет «поприща» ничего сказать не могу – но ведь ты не об этом и спрашивал, не об этом, нет?

LXXXI

4) Вспоминая свою молодость, я даже приблизительно не могу определить, когда именно наступил

в ней перелом, по-моему, очень важный. И присматриваясь к теперешним «русским мальчикам», да и не только русским, тоже не знаю, когда это с ними случается. Но должно бы случиться непременно, и, собственно говоря, только с этого момента человек становится взрослым.

В ранней юности само собой возникает противопоставление: «я», «мы», то есть сверстники, – и «они», старшие. «Они» представляются силой или средой, если и не враждебной, то чуждой: вроде как если бы мореплаватели, высадившись на неведомом острове, нашли там туземцев, занявших лучшие места. Что у «нас» с «ними» общего, в самом деле? Иной язык, иные нравы, иные влечения и надежды. Бывает даже, что налет «чуждости» ложится в юности на самую жизнь: самая жизнь «нас», еще ничем с ней прочно не связанных, будто бы не касается, и участвовать в ее передрягах «мы» не намерены. «Они» что-то там намудрили, напутали, каких-то бед натворили, пусть в них и разбираются, а мы постоим в стороне.

Вероятно, перелом наступает с первым толчком сзади, от новых, следующих мореплавателей, и случается это рано, лет в тридцать, а то и раньше. Человек вдруг понимает, вернее чувствует, что попал в ловушку и что у судьбы нет ни желания, ни основания, ни даже возможности отнестись к нему иначе, чем к другим. Иллюзии насчет стояния в стороне рассеиваются. «Товарищ, друг, дай мне руку», как склонен бы сказать Блок. Но те, очередные «новые», в рукопожатье не нуждаются и приняли бы его нехотя, со скептической, недоумевающей усмешкой. До следующего, очередного толчка в спину, когда в том же положении окажутся и они.

LXXXII

5) Было время, я любил читать новые книги, бывать там, где обсуждались новые идеи, новые стихи, то вообще, что называется «веяниями».

Но теперь мне почти всё стало казаться так глупо и ничтожно, настолько «ни к чему», что, честное слово, предпочитаю я сидеть у себя, сложа руки и смотреть в потолок. По крайней мере, «покой и свобода!» Раскроешь журнал: Боже мой, о чем они пишут! и как пишут! Пойдешь на какое-нибудь собрание: Боже мой, какие самодовольные физиономии, какое пустословие! Хочется бежать, выйти на улицу, где небо, дождь, ветер, и никто не лезет из кожи, чтобы продемонстрировать, какой он умный… Но в глубине-то души я прекрасно знаю, в чем дело, и если бы не лукавил, должен был бы сказать сам себе: ничто не изменилось, люди не хуже и не лучше, чем были прежде, это ты, голубчик, уходишь мало-помалу из жизни, выпускаешь ее из рук – и брюзжишь, а то даже сердишься, что она продолжается и без тебя!

LXXXIII

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения».

Кому из великих древних поэтов, Эсхилу или Эврипиду, принадлежит эта глубокая и верная мысль? Вероятно, это – Эврипид, который вообще много сказал такого, что кажется сказанным не две с половиной тысячи лет тому назад, а вчера.

Дар забвения… Если мы теперь пишем, просматриваем журналы, ходим на литературные собрания, невозмутимо спорим о том, какова должна быть в наши дни поэзия и влияет ли кинематограф на литературу, если вообще мы «живем», в том суетливом, мелком, повседневном, ничтожном смысле слова, которого нечем заменить, если даже по мере сил, со «скудеющей в жилах кровью» еще влюбляемся и скучаем, то только благодаря тому, что наделены способностью забывать. Иначе мы должны были бы сойти с ума или сидеть

в каком-то столбняке, недоумевая: неужели всё это было? совсем недавно было? как всё это могло случиться? как же после этого перейти к житейским очередным делам?

Неправильно было бы сказать, что человек отгоняет от себя тревожащие его воспоминания. Не приходится и отгонять. Нечего отгонять. Воспоминания лежат под спудом, они не уничтожены, но вытеснены в прошлое, и не влияют ни на мысли наши, ни на поступки. Иначе нельзя было бы жить. Внезапно, как молния, то или другое из них пронесется в сознании, взбудоражив его, а затем опять тьма, безразличье и привычные интересы или заботы. Двигало ли богами милосердие к человеку, было ли у них к нему скорей пренебрежение, как к созданию не совсем удавшемуся, с которым не стоит и возиться, – кто скажет? Но некое соответствие между существом и существованием, между нами и жизнью оказалось соблюдено.

Случается над этим задуматься. Попадется какая-нибудь газетная статья, вроде той, на которую хорошо, с верным указанием на «нерелигиозное использование религии», ответил недавно архиепископ Иоанн. Попадется роман, вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги, о которой хотелось бы сказать, что она слишком легковесно-занятна для своей темы, слишком пестра, бойка, картинна, шаблонно-увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всякими беллетристическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными… Прочтешь, перечтешь что-нибудь такое, «бередящее старые раны», – и задумаешься над благодатным бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, выли бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что по-видимому «так было

и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что все виноваты, каждый по-своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками что какая-то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. Словом, мы не «жили» бы, а остановились бы в оцепенении, с внезапной остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году, и дальше, к общему для всех нас финалу, с речами, венками или без речей и венков, в яме… Но мы живем:

– Да, да, конечно, всё это ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», я сам так считаю… А знаете, завтра вечером г. Икс, только что прилетевший из Мюнхена, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных отношений. Наш г. Игрек рвет и мечет, говорит, что пахнет провокацией, собирается возражать. Надо бы сбегать за билетом, а то все разберут, при входе не останется. Но вы что-то морщитесь… Неужели вам неинтересно?

– Нет, интересно. Возьмите, пожалуйста, и для меня билетик.

Георгий Викторович Адамович

Комментарии

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *А. Сычёва*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16